





---

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Э. ВОЙНИЧ

ОВОД

РОМАН



ПЕРЕВОД  
С АНГЛИЙСКОГО  
Н. ВОЛЖИНОЙ

Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1949 Ленинград



**Э. Войнич**

**ОВОД**



## Роман «Овод»

### 1

Роман «Овод» вышел в свет в Англии в 1897 году. Это было первое произведение английской писательницы Войнич. Она написала еще несколько книг, однако ни одна из них не получила такого общего признания, как «Овод».

В 1898 году роман «Овод» перевели на русский язык. Царский цензор вычеркнул в нем лучшие страницы, он искажил замысел автора. И все же в произведении Войнич русские читатели уловили протест против гнета, призыв к борьбе за свободу. Образ Овода, героя романа, увлек революционную молодежь, книгу читали в рабочих кружках.

Роман «Овод» и теперь одна из любимых книг наших читателей.

Овод — это героический образ итальянского революционера тридцатых-сороковых годов прошлого столетия.

В те дни, о которых рассказала в своей книге Войнич, значительная часть итальянского народа находилась под игмом австрийцев. Италия к тому же была раздроблена на отдельные государства, лишена национального единства. Тысячи итальянских патриотов самоотверженно боролись тогда за независимость своего народа и его национальное объединение. Они хотели создать единую итальянскую республику. Им не удалось осуществить свои замыслы; все же в истории Италии национально-освободительное движение составило одну из самых славных эпох.

В характерах и поступках героев «Овода», в их мечтах и надеждах Войнич раскрыла главные черты этой эпохи. В романе нет исторических лиц; но вымышленные его герои живут и действуют в реальной исторической обстановке тогдашней Италии.

Как же сложилась эта историческая обстановка?

В 1795 году в пределы Италии вторгся Наполеон Бонапарт. Он захватил и объединил под своей властью почти все итальянские земли.

После свержения Наполеона судьбу итальянского народа решили сильнейшие державы Европы. В 1815 году на Венском конгрессе они разделили Италию на мелкие государства, часть ее отдали Австрийской империи.

Апеннинский полуостров изрезали границы слабых, небольших государств.

Южную Италию занимало в то время Неаполитанское королевство. На северо-западе к нему примыкала Папская область с древней столицей Италии Римом. Правителем области был сам папа римский. Остальную часть Средней Италии занимало Тосканское герцогство.

Чуть повыше Тосканы к берегу Лигурийского моря жалось крошечное герцогство Лукка, а к северу от него лежали земли герцогов Модены и Пармы. На западе граничило с Францией королевство Сардинское, или Пьемонт.

К северу от По, главной итальянской реки, простирались самые богатые области Италии — Ломбардия и Венеция.

В 1814 году Ломбардию и Венецию захватили австрийцы. Венский конгресс закрепил за Австрией эти владения. Правители Тосканы, Модены и Пармы были связаны узами родства с австрийским императорским домом. Католическая церковь во главе с папой римским являлась открытым союзником Австрии. Могущественная и обширная Австрийская империя стала хозяином почти всей Италии.

Итальянские монархи пользовались неограниченной властью. Это были мелкие деспоты, жестоко угнетавшие свой народ. Они установили полицейский режим в государствах Италии. Еще более тяжким было иго австрийцев, грубо попиравших национальное достоинство итальянского народа.

Борьбу против самовластья и чужеземного гнета начало тайное общество, основанное еще при французском владычестве. Члены этого общества называли себя карбонариями (carbonaro — по-итальянски «угольщик»). Они объединялись в небольшие ячейки — венты. Карбонарии хотели изгнать австрийцев и ограничить власть итальянских монархов.



В 1820-1821 годах вспыхнули первые восстания тайных карбонарских вент. Они были беспощадно подавлены Австрией.

Австрийцев поддержал «Священный союз», образованный в 1815 году. Это был союз реакционных держав, поставивших своей целью подавление революции в государствах Европы.

Спустя десять лет снова вспыхнули восстания карбонариев. И снова они были подавлены Австрией.

В 1830 году за пределы Италии был выслан властями молодой карбонарий Джузеппе Мадзини. Через год во Франции, в Марселе, он организовал тайное общество «Молодая Италия».

Общество «Молодая Италия» поставило перед собою задачу установить в Италии единую независимую республику. Оно решило не только изгнать австрийцев, но и свергнуть итальянских монархов.

«Бог и народ!» — такой девиз избрало себе новое тайное общество.

Однако Мадзини и его последователи не знали народа, не знали широких трудящихся масс.

Правда, рабочий класс в тогдашней Италии был еще слаб и малочислен, но крестьянство представляло собой серьезную революционную силу. Помещики, крупные арендаторы жестоко эксплуатировали итальянских крестьян, обрабатывавших исполу крошечные клочки земли. От беспросветной нужды и притеснений тысячи крестьян уходили в разбойничьи шайки. Надо было привлечь на свою сторону эти тысячи недовольных крестьян, объединить их для борьбы за республику. Мадзини этого не сделал. Как и карбонарии в прошлом, он стал на путь организации многочисленных восстаний и заговоров небольших революционных групп.

Десятки восстаний и заговоров мадзинистов были потоплены в крови итальянскими и австрийскими властями. Поражение за поражением терпели и другие, более мелкие повстанческие организации.

Силы повстанцев распылялись и истощались. Борьба затягивалась на долгие годы.

Двадцать лет спустя после организации общества «Молодая Италия» Маркс отмечал, что Мадзини забывает об итальянских крестьянах, что он «знает только города с их либеральным дворянством и их просвещенными гражданами»<sup>[1]</sup>.

\* \* \*

Еще в начале сороковых годов в Италии появились новые, гораздо более умеренные сторонники ее воссоединения. Крупная буржуазия и помещики испугались революционного движения. В то же время их хозяйственную деятельность стали стеснять узкие рамки небольших итальянских государств. Одни из новых сторонников воссоединения хотели создать союз итальянских государств под главенством папы, другие предлагали объединить Италию под властью пьемонтского короля, наиболее независимого и сильного из всех итальянских монархов. Для объединения Италии они выжидали только благоприятной международной обстановки.

В 1848 году во Франции, Пруссии, Австрии вспыхнула революция. Когда в марте 1848 года началось восстание в столице Австрии Вене, граждане Милана, главного города Ломбардии, почти безоружные, выступили против регулярных австрийских войск. После пятидневных боев они выгнали австрийцев из города.

Началась война с Австрией. В ней принял участие легендарный народный герой итальянского освободительного движения, бесстрашный генерал Джузеппе Гарибальди. Но в результате предательства итальянцы потерпели поражение. Революция, охватившая лишь крупные города, была подавлена.

Италия воссоединилась только в 1861 году под властью пьемонтского короля. И только в 1870 году был лишен светской власти папа.

Чтобы объединить Италию, буржуазия и помещики в 1859-1861 годах использовали силы патриотов-демократов. Сам Гарибальди сражался за объединение Италии под властью пьемонтского короля. Он не видел тогда иного пути ее освобождения, потому что мадзинистские организации после разгрома революции 1848 года утратили свое прежнее значение.

Национально-освободительное движение родило в Италии сотни героев, сотни политических мучеников, но, лишенное связи с народом, осталось бесплодным.

Почему же внимание английской писательницы Войнич привлекла эта пора в истории итальянского народа?

Этель Лилиан Войнич родилась в 1864 году в семье английского ученого Джорджа Буль.

Одно время Этель Лилиан училась в Италии. Она вышла замуж за польского эмигранта Войнича, бежавшего с царской каторги, в юности побывала в Петербурге, где сблизилась с русскими революционными кругами.

В Лондоне Войнич часто встречалась с итальянскими политическими эмигрантами, которые когда-то боролись за Италию в одних рядах с Мадзини и Гарибальди.

Молодая писательница оказалась таким образом в средоточии национально-освободительных традиций. В образе Овода ей удалось воплотить героические черты национально-освободительного движения в Италии — мужество итальянских патриотов, их беззаветную преданность революционному долгу.

#### 4

Время действия первой части романа «Овод» — 1832-1833 годы.

Это годы первых восстаний и первых поражений мадзинистов. В Пьемонте, Тоскане и других государствах Италии в это время уже вели подпольную работу первые заговорщические группы Мадзини, устанавливались тайные связи, поднимались на борьбу за единую республику пылкая студенческая молодежь, патриотически настроенная интеллигенция, ремесленники, мелкие буржуа. Полиция неистовствовала в государствах Италии. Страну наводняли жандармы и шпики.

В 1833 году в Генуе вспыхнуло восстание мадзинистов братьев Руффини. Оно было беспощадно подавлено пьемонтским королем Карлом-Альбертом.

В Тоскане в тот год первые попытки поднять национальную революцию повлекли за собой настоящий террор. Герцог Леопольд II, чиня кровавую расправу над патриотами, действовал по прямому указанию Австрийской империи.

Тосканские события 1833 года и составляют исторический фон первой части романа «Овод».

Главные герои романа молоды, неопытны. На заре мадзинистского движения со всем жаром юности они мечтают о свободной и независимой итальянской республике. Доверчивые, неосторожные, они не умеют еще распознавать политических врагов. Революционная организация попадает в лапы шпиона. Ее участников ждут тюрьма, долгие годы изгнания.

Время действия второй и третьей частей романа — 1846 год. Тринадцать лет спустя — та же глухая подпольная борьба мадзинистских групп. Но главные герои романа — уже зрелые политические деятели, опытные конспираторы, много перенесшие, закалившиеся в трудных условиях революционного подполья.

В подпольных кругах хорошо известен Овод. Его знают и вне пределов Италии. Из пылкого, болезненно впечатлительного юноши Овод вырос в сурового и непреклонного революционного борца. Его сердце исполнено непримиримой ненависти к врагам, стоящим на пути к единой итальянской республике.

Овод держит в своих руках нити тайных связей не только с мадзинистами, но и с другими революционными группами. Он ближе остальных мадзинистов к простому народу. Его любят горцы, тайно провозящие через границы итальянских государств оружие и боевые припасы для повстанцев.

На политической арене мы видим уже не одних мадзинистов. Появляются те, кого Герцен называл «революционными царедворцами», — либералы из крупных промышленников и помещиков, буржуазных профессоров и литераторов.

В романе показан литературный салон разбогатевшего адвоката Грассини. Между светской болтовней в салоне Грассини ведутся разговоры на модные «патриотические» темы. Пустая и глупая синьора Грассини лепечет знатным гостям о «бедной рабыне Италии», о «нашем несчастном отечестве».

Войнич высмеивает «патриотизм» либеральных дельцов, их политическую умеренность и осторожность, страх перед восстанием.

С большой художественной силой и убедительностью Войнич разоблачает в романе предательскую роль в освободительном движении католической церкви. Известно, что католическое духовенство во главе с папой решительно противилось объединению Италии. Оно цеплялось за светскую власть. Все пускалось в ход для ее

сохранения — политические интриги, шпионаж, провокации. Не один шпион в монашеской рясе, забывая о данной им клятве хранить тайну исповеди, предавал в то время в руки полиции своих доверчивых исповедников.

Такой священник-шпион выведен Войнич в романе. Именно он предает в руки полиции тосканскую революционную организацию.

Войнич показывает, как Овод, в юности горячо веривший в бога, на личном опыте узнает истинную цену религии с ее проповедью человеколюбия, за которой стоит лицемерие, предательство и ложь. Церковь, наряду с Австрией, становится главным политическим врагом Овода.

Одна из центральных фигур в романе — священник, а позднее епископ и кардинал Монтанелли. Он как будто бы добрый, сердечный человек, ему слепо верит простой народ. Но и Монтанелли оказывается послушным орудием в руках жандармов, и он лицемерит и лжет. Во имя мнимой любви к своему богу он, как увидят читатели, совершает тягчайшее преступление против совести и сам становится жертвой этого преступления.

Тесно сплелись в романе судьбы революционеров Овода и Джеммы. Тяжкие беды, страшные душевные потрясения суждено пережить этим героям романа.

Но не в описании их личных судеб достоинство книги. Войнич создала произведение, проникнутое революционной героикой. Лучшие страницы романа — это история страданий и гибели Овода за итальянский народ. Прекрасны мужество и бесстрашие Овода, его железная выдержка, ненависть и презрение к врагу, гордость и величие не сломленного истязаниями духа.

Вечно живой силой патриотического чувства и революционной страсти пленяет «Овод» душу читателя.

За это книгу Войнич высоко ценил Алексей Максимович Горький, за это ее любил замечательный советский писатель Николай Островский.

*Е. Егорова*



**О В О Д**

—

—

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





# I

Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе<sup>[2]</sup> и просматривал вороха рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину прикрыты. Отец ректор, каноник<sup>[3]</sup> Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листками бумаги.

— Не можешь найти, *carino*?<sup>[4]</sup> Оставь. Я напишу эту часть заново. Вероятно, страничка где-нибудь затерялась, и я напрасно задержал тебя здесь.

Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

— Нет, падре,<sup>[5]</sup> я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было.

Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном монотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «Fragola! Fragola!»<sup>[6]</sup>

— «Об исцелении прокаженного» — вот она!

Артур подошел к Монтанелли мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета шестнадцатого века, чем на юношу тридцатых годов из английской семьи среднего класса. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено: длинные брови, подвижной нервной рот, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье; но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, правда без когтей.

— Неужели нашел? Что бы я без тебя делал, Артур! Вечно все терял бы... Нет, довольно писать. Идем в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты там не понял?

Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского<sup>[7]</sup> монастыря, и двести лет назад его квадратный двор содержался в идеальном порядке. Ровные бордюры из букса окаймляли аккуратно подстриженные кусты розмарина и лаванды. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Между каменными плитами дорожек пробивались стебли дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одичали; их длинные спутанные побеги протянулись по всем дорожкам. Среди кустов букса алели большие красные маки. Высокие стебли наперстянки склонялись над травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой.

В одном углу сада поднималась разросшаяся магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее.

Артур изучал философию в университете. Когда ему встречалось трудное место в книге, он обращался за разъяснением к падре. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был его авторитетом во всех отраслях знания.

— Ну, пожалуй, я пойду, — сказал Артур, когда трудное место было разъяснено. — Впрочем, может быть, я вам нужен?

— Нет, на сегодня я работу закончил, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.

— Конечно, есть!

Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцавшие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные загадки темно-голубые глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла<sup>[8]</sup>. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.

— Какой у тебя утомленный вид, *carino*, — проговорил он.

— Что поделаешь...

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.

— Напрасно ты спешил возобновить занятия. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно<sup>[9]</sup>.

— Что вы, падре, зачем? Я все равно не смог бы оставаться в этом доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.

Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг.

— Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников, — мягко сказал Монтанелли. — Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача. Провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям.

— Нет, падре, право, я не мог. Уоррены хорошие, сердечные люди, но с ними трудно. Они жалеют меня — я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери... Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, — даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это...

— Что же еще, сын мой?

Артур сорвал цветок с поникшего стебля наперстянки и нервно сжал его в руке.

— Я не могу жить в этом городе, — начал он после минутной паузы. — Не могу видеть магазины, где она покупала мне игрушки в детстве; набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошел — все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы... Как будто они нужны мне теперь! И потом, кладбище... Нет, я не мог не уехать! Мне тяжело видеть все это.

Артур замолчал, разрывая колокольчики наперстянки. Молчание было таким долгим и глубоким, что он взглянул на падре, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии уже сгустились сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания; но все же света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и схватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни.

«О боже, — подумал он, — как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его

глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам.

— Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае теперь, — сказал он с лаской в голосе. — Но обещаю тебе, что ты отдохнешь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не хочу, чтобы ты совсем расхворался.

— Падре, а куда вы поедете, когда семинария закроется?

— Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется помощник ректора. Тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать долгие прогулки в горах, и ты познакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь, что тебе будет скучно со мной.

— Падре! — Артур сжал руки. Этот привычный его жест Джули приписывала «манерности, свойственной только иностранцам». — Я готов отдать все на свете, чтобы ехать с вами. Только... я не уверен...

Он остановился.

— Ты думаешь, мистер Бертон не разрешит тебе?

— Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. К тому же он ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он никогда не любил моей матери.

— Все же, если он будет противиться, я думаю, тебе лучше уступить. Твое положение в доме может ухудшиться, если...

— Ухудшиться? Вряд ли! — горячо прервал его Артур. — Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть, что бы я ни делал. Да и как Джеймс может противиться, раз я еду с вами, моим духовником?

— Помни — он протестант!<sup>[10]</sup> Во всяком случае, лучше написать ему. Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Это внушение было сделано очень мягко, но Артур покраснел, выслушав его.

— Да, я знаю, — ответил он со вздохом. — Но ведь это так трудно!

— Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник, — сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора. — Был епископ из Ареццо, и

мне хотелось, чтобы ты его повидал.

— В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.

— Какое собрание?

Артур несколько смутился.

— Вернее... вернее, не собрание... — сказал он запинаясь. — Из Женевы приехал один студент и произнес речь. Скорее это была лекция...

— О чем?

Артур замялся:

— Падре, вы не будете спрашивать его фамилию? Я обещал...

— Я ни о чем не буду спрашивать. Раз ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует. Но я думаю, ты мог бы довериться мне.

— Конечно, падре. Он говорил... о нас и о нашем долге перед народом, о нашем... долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь...

— Помочь? Кому?

— Народу и...

— Ну?

— Италии.

Наступило продолжительное молчание.

— Скажи мне, Артур, давно ты стал думать об этом? — серьезным тоном спросил Монтанелли, повернувшись к нему.

— С прошлой зимы.

— Еще до смерти матери? И она не знала?

— Нет. Тогда это еще не захватило меня.

— А теперь?

Артур сорвал еще несколько колокольчиков наперстянки.

— Вот как это случилось, падре, — начал он, опустив глаза. — Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и, помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всем этом... Давали читать книги. Но меня это как-то не захватывало. Мне хотелось поскорее вернуться к матери. Она была так одинока там, в Ливорно! Ведь это не дом, а тюрьма... Джули со своим языком одна была способна убить ее. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов и книги и совсем, как вы знаете, перестал бывать в Пизе. Если бы меня волновали эти вопросы,

я все рассказал бы матери. Но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни... Вы знаете, я был безотлучно при ней до самой ее смерти. Часто просиживал у ее постели целые ночи. Днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать... Вот в эти-то длинные ночи я и стал думать о тех книгах и о том, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они... Задумывался над тем, что сказал бы обо всем этом Христос.

— Ты обращался к нему? — Голос Монтанелли прозвучал не совсем твердо.

— Часто, падре. Иногда я молил его дать мне указание, что же делать, просил, чтобы он взял меня к себе вместе с матерью... Но ответа я не получил.

— И ты не поговорил об этом со мной, Артур! А я-то думал, что ты доверяешь мне!

— Падре, вы ведь знаете, что доверяю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что тут никто не может помочь — ни вы, ни мать. Я хотел получить ответ непосредственно от бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе.

Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в густые сумерки, окутавшие ветви магнолии.

— Ну, потом? — тихо спросил он.

— Потом... она умерла... Последние три ночи я не отходил от нее.

Он замолчал, но Монтанелли сидел не двигаясь.

— Эти два дня перед ее погребением я ни о чем не мог думать, — продолжал Артур совсем тихо. — Потом, после похорон, я слег. Помните, меня не было на исповеди?

— Помню.

— В ту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Она была пуста. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что господь поможет мне... Я упал на колени и ждал... всю ночь. А утром, когда пришел в себя... Нет, падре! Я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел... Я сам едва помню. Но я знаю только, что господь ответил мне. И я не смею противиться его воле.

Несколько минут они сидели молча, затем Монтанелли повернулся к Артуру и положил ему руку на плечо.

— Сын мой! — проговорил он наконец. — Я не посмею сказать, что господь не беседовал с твоей душой. Но вспомни, в каком ты был

состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за торжественный призыв господ. Если действительно такова была его воля — ответить тебе, когда смерть посетила твой дом, — смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. Куда зовет тебя твое сердце?

Артур поднялся и торжественно ответил, точно повторяя слова катехизиса:

— Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного властелина, кроме Христа!

— Артур, подумай, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец!

— Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Таково было веление свыше, и я исполню его.

Снова наступило молчание.

Монтанелли оперся локтем о ветвь магнолии и прикрыл рукой глаза.

— Сядь на минуту, сын мой, — сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, сильно сжал их.

— Сейчас я не могу спорить с тобой, — сказал он. — Все это произошло так внезапно... Мне нужно время, чтобы разобраться... Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном: если с тобой случится беда и ты погибнешь, я не перенесу этого.

— Падре!

— Не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всем мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять — ты так молод. В твои лета я тоже не понял бы. Артур, ты для меня, как... как сын. Понимаешь? Ты свет моих очей, ты радость моего сердца. Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, которым ты можешь погубить свою жизнь. Но я бессилен. Я не требую от тебя обещаний... Прошу только: помни, что я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это ради меня, ради твоей покойной матери...

— Хорошо, падре, а вы... вы... помолитесь за меня и за Италию.

Артур молча опустился на колени, и так же молча Монтанелли положил руку на его склоненную голову. Прошло несколько минут.

Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошел по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли долго сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту.



## II

Мистеру Джеймсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата «шататься по Швейцарии» вместе с Монтанелли. Но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия, да еще с такой целью, как занятия ботаникой, он не мог. Артуру, не знавшему истинных причин отказа, это показалось бы крайним деспотизмом, он приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам. А Бертоны гордились своей веротерпимостью. Все члены их семьи были стойкими консерваторами и протестантами еще с тех давних пор, когда судовладельческая компания «Бертон и сыновья, Лондон — Ливорно» только возникла, а она вела дела больше ста лет.

Все же они держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть справедливым даже по отношению к католикам; и поэтому, когда глава дома, наскучив вдовством, женился на католичке, хорошенькой гувернантке своих младших детей, двое старших сыновей, Джеймс и Томас, мрачно покорились воле провидения, хоть им и трудно было мириться с присутствием в доме мачехи, почти их ровесницы.

Со смертью отца тяжелое положение в семье осложнилось еще больше женитьбой старшего сына. Впрочем, пока Глэдис была жива, оба брата добросовестно старались защищать ее от злого языка Джули и исполняли свой долг, как они его понимали, по отношению к Артуру. Они не любили мальчика и даже не старались этого скрывать. Их чувства к брату сводились главным образом к щедрым поощрениям и к предоставлению ему полной свободы.

В ответ на свое письмо Артур получил чек на покрытие путевых издержек и холодное разрешение провести каникулы как ему будет угодно. Часть денег он истратил на покупку книг по ботанике и папок для гербария и двинулся с падре в свое первое альпийское путешествие.

Артур давно уже не видел падре таким бодрым, как в эти дни. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к Монтанелли мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все более спокойными глазами. Артур юн и неопытен,

думал Монтанелли. Его решение не может быть окончательным. Еще не поздно — мягкие увещания, вразумительные доводы сделают свое дело и вернут его с того опасного пути, на который он едва успел ступить.

Они собирались провести несколько дней в Женеве, но стоило только Артуру увидеть залитые солнцем улицы и пыльные набережные с толпами туристов, как он сразу нахмурился. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним:

— Что, *carino*? Тебе не нравится здесь?

— Сам не знаю. Я ждал совсем другого. Озеро, правда, прекрасное, и очертания холмов тоже хороши. — Они стояли на острове Руссо<sup>[11]</sup>, и Артур указывал на длинные строгие контуры Савойских Альп. — Но город... Он такой чопорный, аккуратный, в нем есть что-то... протестантское. Такой же самодовольный вид. Нет, не нравится мне он, напоминает чем-то Джули.

Монтанелли засмеялся:

— Бедный, вот не повезло тебе! Ну что ж, мы ведь путешествуем ради удовольствия, и нам нет нужды задерживаться здесь. Давай покатаемся сегодня по озеру на парусной лодке, а завтра утром поднимемся в горы.

— Но, падре, может быть, вам хочется побыть здесь?

— Дорогой мой, я видел все это десятки раз, и если ты получишь удовольствие от нашей поездки — другого отдыха мне не надо. Куда бы тебе хотелось отправиться?

— Если вам все равно, давайте двинемся вверх по реке, к истокам.

— Вверх по Роне?

— Нет, по Арве. Она так быстро мчится.

— Тогда едем в Шамони.

Весь день они катались на маленькой парусной лодке. Живописное озеро понравилось Артуру гораздо меньше, чем серая и мутная Арва. Он вырос близ Средиземного моря и привык к голубой зыби волн. Но быстрые реки всегда влекли Артура, и этот стремительный поток, несшийся с ледника, привел его в восхищение.

— Вот это настоящая река! — говорил он.

На другой день рано утром они отправились в Шамони. Пока дорога шла плодородной долиной, Артур был в очень веселом настроении. Но вот они выехали на крутую тропинку близ Клуза.

Большие зубчатые горы охватили их тесным кольцом. Артур стал серьезен и молчалив. От Сен-Мартена пошли пешком по долине, останавливаясь на ночлег в придорожных шале<sup>[12]</sup> или в маленьких горных деревушках, и снова шли дальше, не стесняя себя определенным маршрутом. Окружающая природа производила на Артура огромное впечатление, а первый водопад, встретившийся на их пути, привел его в восторг. Но по мере того как они подходили к снежным вершинам, восхищение Артура сменялось какой-то восторженной мечтательностью, новой для Монтанелли. Казалось, между юношей и горами существовало тайное родство. Он готов был часами лежать неподвижно среди темных, таинственных сосен, гулко шумевших вершинами, лежать и смотреть меж прямых высоких стволов на залитый солнцем мир сверкающих горных пиков и нагих утесов. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью.



Как-то вечером они осторожно спустились между темными деревьями, направляясь на ночевку в шале.

Войдя в комнату, где Артур поджидал его к ужину, Монтанелли увидел, что юноша снова весел.

— Падре, идите сюда! Посмотрите на эту потешную собачонку! Она танцует на задних лапках.

Хозяйка шале, краснощекая женщина в белом переднике, стояла, уперев в бока полные руки, и улыбалась, глядя на возню Артура с собакой.

— Видно, у него не очень-то много забот, если так заигрался, — сказала она своей дочери на местном наречии. — А какой красавчик!

Артур покраснел, как школьник, а женщина, заметив, что ее поняли, ушла, смеясь над его смущением.

За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок в горы, о сборе растений.

Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Он отправился еще до рассвета на верхние пастбища «помогать Гаспару пасти коз».

Однако не успели подать завтрак, как юноша вбежал в комнату, без шляпы, с большим букетом диких цветов. На плече у него сидела девочка лет трех.

Монтанелли смотрел на него улыбаясь. Какой разительный контраст с тем серьезным, молчаливым Артуром, которого он знал в Пизе и Ливорно!

— Где ты был, сумасброд? Бегал по горам, не позавтракав?

— Ах, падре, как там хорошо! Восход солнца в горах! Сколько в этом величия! А какая сильная роса! Взгляните.

Он поднял ногу в мокром, грязном башмаке.

— У нас было немного хлеба и сыра, а на пастбище мы выпили козьего молока... Ужасная гадость! Но я опять проголодался, и вот этой маленькой персоне тоже надо поесть. Аннет, хочешь меду?

Он сел, взяв девочку к себе на колени, и стал помогать ей разбирать цветы.

— Нет, нет! — запротестовал Монтанелли. — Так ты можешь простудиться. Сбегай переоденься... Иди сюда, Аннет... Где ты подобрал ее, Артур?

— В самом конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник. Посмотрите, какие у Аннет чудесные глаза! А в кармане у нее живая черепаха Каролина.

Когда Артур, сменив мокрые чулки, сошел вниз завтракать, девочка сидела на коленях у падре и безумолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухленькой ручке, чтобы «monsieur»<sup>[13]</sup> мог подивиться, как шевелятся у нее лапки.

— Смотрите, monsieur! — серьезным тоном говорила она. — Смотрите, какие у Каролины башмачки!

Монтанелли забавлял малютку, гладил ее по голове, любовался ее любимицей черепахой и рассказывал чудесные сказки.

Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы у важного господина в духовном одеянии.

— Бог помогает малышам распознавать хороших людей, — сказала она. — Аннет боится чужих, а сейчас, смотрите, она совсем не дичится его преподобия. Вот чудо! Аннет, стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина. Это принесет тебе счастье.

— Я и не подозревал, падре, что вы умеете так хорошо забавлять детей, — сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитому солнцем пастбищу. — Ребенок просто не отрывал от вас глаз. Знаете, я...

— Что?

— Я только хотел сказать... как жаль, что церковь запрещает священникам жениться. Я не совсем понимаю, почему. Ведь воспитание детей — такое серьезное дело! Как важно, чтобы с самого рождения они были в хороших руках. Мне кажется, чем выше призвание человека, чем чище его жизнь, тем больше он пригоден к роли отца. Падре, я уверен, что если бы не ваш обет... если бы вы женились, ваши дети были бы очень...

— Замолчи!

Это слово, произнесенное торопливым шопотом, казалось, углубило наступившее потом молчание.

— Падре, — снова начал Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли, — разве в этом есть что-нибудь дурное? Может быть, я ошибаюсь, но я говорю то, что думаю.

— Ты не совсем ясно отдаешь себе отчет в значении своих слов, — мягко ответил Монтанелли. — Пройдет несколько лет, и ты поймешь многое. А сейчас давай поговорим о чем-нибудь другом.

Это было первым нарушением той полной гармонии, которая установилась между ними за время каникул.

Из Шамони Монтанелли и Артур двинулись в Мартиньи и здесь остановились на отдых, так как погода была удушливо жаркая.

После обеда они сели на защищенной от солнца террасе отеля, с которой открывался чудесный вид. Артур принес ящик с растениями и начал с Монтанелли серьезную беседу о ботанике на итальянском языке.

На террасе сидели, два художника-англичанина. Один делал набросок с натуры, другой лениво болтал. Ему не приходило в голову, что иностранцы могут понимать по-английски.

— Брось свою пачкотню, Вилли, — сказал он. — Нарисуй лучше вот этого восхитительного итальянского юношу, восторгающегося папоротниками. Ты посмотри, какие у него брови! Замени лупу в его руках распятием, надень на него римскую тогу вместо коротких штанов и куртки — и перед тобой законченный тип христианина первых веков.

— Какой там христианин! Я сидел возле него за обедом. Он восторгался жареной курицей не меньше, чем этой травой. Что и говорить, юноша очень мил, у него такой чудесный оливковый цвет лица. Но его отец гораздо живописнее.

— Его — кто?

— Его отец, что сидит прямо перед тобой. Неужели ты не заинтересовался им? Какое у него великолепное лицо!

— Эх ты, глупый методист!<sup>[14]</sup> Не можешь признать католического священника!

— Священника? А ведь верно! Чорт возьми! Я и забыл: обет целомудрия и все такое прочее... Что же, в таком случае будем снисходительны и предположим, что этот юноша — его племянник.

— Какие идиоты! — прошептал Артур, подняв на Монтанелли смеющиеся глаза. — Тем не менее с их стороны очень любезно находить во мне сходство с вами. Мне бы хотелось и в самом деле быть вашим племянником... Падре, что с вами? Как вы побледнели!

Монтанелли встал и приложил руку ко лбу.

— У меня закружилась голова, — произнес он глухим, слабым голосом. — Должно быть, я сегодня слишком долго был на солнце. Пойду прилягу, *carino*. Это от жары.

\* \* \*

Проведя две недели у Люцернского озера, Артур и Монтанелли возвращались в Италию через Сен-Готардский перевал. Погода благоприятствовала им все время, и они совершили не одну интересную экскурсию, но та радость, которая сопутствовала им в первые дни, исчезла.

Монтанелли преследовала тревожная мысль о необходимости серьезно поговорить с Артуром, что, казалось, легче всего было сделать во время каникул. Когда они путешествовали в долине Арвы, он намеренно избегал касаться той темы, которая обсуждалась ими в саду под магнолией. Было бы жестоко, думал Монтанелли, омрачать таким тяжелым разговором первые радости, которые дает Артуру альпийская природа. Но с того дня в Мартиньи он повторял себе каждое утро: «Сегодня я поговорю с ним», и каждый вечер: «Нет, лучше завтра». Каникулы уже подходили к концу, а он все повторял: «Завтра, завтра». Его удерживало смутное, пронизывающее холодком чувство, что отношения их уже не те, — словно какая-то завеса отделила его от Артура. Лишь в последний вечер каникул он понял, что если говорить, то только сегодня.

Они остались в Лугано ночевать, а на следующее утро должны были выехать в Пизу. Монтанелли хотелось выяснить хотя бы, как далеко его любимец завлечен в роковые зыбучие пески итальянской политики.

— Дождь перестал, *carino*, — сказал он после захода солнца. — Сейчас самое время посмотреть озеро. Пойдем, мне нужно поговорить с тобой.

Они прошли вдоль берега к тихому, уединенному месту и уселись на низкой каменной стене. Около нее рос куст шиповника, покрытый алыми ягодами. Несколько запоздалых бледных розочек, отягченных дождевыми каплями, свешивались с верхней ветки. По зеленой глади озера скользила маленькая лодка с легким белым парусом, слабо



колыхавшимся на влажном ветерке. Лодка казалась легкой и хрупкой, словно серебристый, брошенный на воду одуванчик. На Монте-Сальваторе, как золотой глаз, сверкнуло окно одинокой пастушьей хижины. Розы опустили головки, задремав под облачным сентябрьским небом; вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни.

— Только сейчас я могу спокойно поговорить с тобой, — начал Монтанелли. — Ты вернешься к университетской работе, к своим друзьям, да и я эту зиму буду очень занят. Мне хочется выяснить наши отношения, и если ты...

Он помолчал минуту, а потом снова медленно заговорил:

— И если ты чувствуешь, что можешь доверять мне по-прежнему, то скажи откровенно — не так, как тогда, в саду семинарии, — далеко ли ты зашел...

Артур смотрел на водяную рябь, спокойно вслушиваясь в его слова, и молчал.

— Я хочу знать, если только ты можешь ответить мне, — продолжал Монтанелли, — связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе.

— Мне нечего сказать вам, дорогой падре. Я не связал себя ничем, и все-таки я связан.

— Не понимаю...

— Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, это все. А иначе вас ничто не свяжет.

— Значит, это... это чувство не может измениться? Артур, думаешь ли ты, что говоришь?

Артур повернулся и посмотрел Монтанелли прямо в глаза:

— Падре, вы спрашивали, доверяю ли я вам. А есть ли у вас доверие ко мне? Ведь если бы мне было что сказать, я бы вам сказал. Но о таких вещах нет смысла говорить. Я не забыл ваших слов и никогда не забуду, Но я должен идти своей дорогой, идти к тому свету, который я вижу впереди.

Монтанелли сорвал розу с куста, оборвал лепестки и бросил их в воду.

— Ты прав, carino. Довольно, не будем больше говорить об этом. Все равно словами не поможешь... Что ж... Пойдем.



### III

Осень и зима миновали без всяких событий. Артур прилежно занимался, и у него оставалось мало свободного времени. Все же раз, а то и два раза в неделю он урывал время, чтобы заглянуть на несколько минут к Монтанелли. Иногда он заходил к нему с книгой за разъяснением какого-нибудь трудного места, но в таких случаях разговор шел только на эту тему. Монтанелли, чувствуя вставшую между ними почти неосоздаваемую преграду, избегал всего, что могло показаться попыткой с его стороны восстановить прежнюю близость. Посещения Артура доставляли ему теперь больше горечи, чем радости. Трудно было выдерживать постоянное напряжение, казаться спокойным и вести себя так, словно ничто не изменилось. Артур, со своей стороны, замечал некоторую перемену в обращении падре и, чувствуя, что она имеет отношение к тяжкому вопросу о его «новых идеях», избегал всякого упоминания об этой теме, владевшей непрестанно его мыслями.

И все-таки Артур никогда не любил Монтанелли так горячо, как теперь. От смутного, но неотвязного чувства неудовлетворенности и душевной пустоты, которое он с таким трудом пытался заглушить изучением богословия и соблюдением обрядов католической церкви, при первом же знакомстве его с «Молодой Италией» не осталось и следа. Исчезла нездоровая мечтательность, порожденная одиночеством и бодрствованием у постели умирающей, не стало сомнений, спасаясь от которых он прибегал к молитве. Вместе с новым увлечением, с новым, более ясным восприятием религии (ибо в студенческом движении Артур видел не столько политическую, сколько религиозную основу) к нему пришло чувство покоя, душевной полноты, умиротворенности и расположения к людям. Весь мир озарился для него новым светом. Он находил новые, достойные любви стороны в людях, неприятных ему раньше, а Монтанелли, который в течение пяти лет был для него идеалом, представлялся ему теперь будущим пророком новой веры, с новым сиянием на челе. Он страстно вслушивался в проповеди падре, стараясь уловить в них следы внутреннего сродства с республиканским идеалом; усиленно изучал

евангелие и радовался демократическому духу христианства в дни его возникновения.

В один из январских дней Артур зашел в семинарию вернуть взятую им книгу. Узнав, что отца ректора там нет, он поднялся в кабинет Монтанелли, поставил том на полку и хотел уже итти, как вдруг внимание его привлекла книга, лежавшая на столе. Это было сочинение Данте «De Monarchia»<sup>[15]</sup>. Артур начал читать книгу и скоро так увлекся, что не услышал, как открылась и снова закрылась дверь. Он оторвался от чтения только тогда, когда за его спиной раздался голос Монтанелли.

— Вот не ждал тебя сегодня! — сказал тот, мельком взглянув на заголовок книги. — Я только что собирался послать к тебе справиться, не придешь ли ты вечером.

— Что-нибудь важное? Я занят сегодня, но если...

— Нет, можно и завтра. Мне хотелось видеть тебя — я уезжаю во вторник. Меня вызывают в Рим.

— В Рим? Надолго?

— В письме говорится, что до конца пасхи. Оно из Ватикана<sup>[16]</sup>. Я хотел дать тебе знать, но все время был занят то делами семинарии, то приготовлениями к приезду нового ректора.

— Падре, я надеюсь, вы не покинете семинарию?

— Придется. Но я, вероятно, еще приеду в Пизу. По крайней мере, на время.

— Но почему вы уходите из семинарии?

— Видишь ли... Это еще не объявлено официально, но мне предлагают епископство.

— Падре! Где?

— За этим-то и надо ехать в Рим. Еще не решено, получу ли я епархию в Апеннинах или останусь викарием здесь.

— А новый ректор уже назначен?

— Да, отец Карди. Он приедет завтра.

— Как все это неожиданно!

— Да... но решения Ватикана часто не объявляются до самой последней минуты.

— Вы знакомы с новым ректором?

— Лично не знаком, но его очень хвалят. Монсиньор Беллони пишет, что он человек очень образованный.

— Семинария многого лишится, потеряв вас.

— Не знаю, как семинария, но ты, сагіно, будешь чувствовать мое отсутствие. Может быть, почти так же, как я твое.

— Да, это верно. И все-таки я радуюсь за вас.

— Радуюсь? А я не знаю, радоваться ли мне.

Монтанелли сел к столу с усталым видом, точно он на самом деле не был рад высокому назначению.

— Ты занят сегодня днем, Артур? — начал он после минутной паузы. — Если нет, останься со мной, раз ты не можешь зайти вечером. Мне что-то не по себе. Я хочу как можно дольше побыть с тобой до отъезда.

— Хорошо, только недолго. В шесть часов я должен быть...

— На каком-нибудь собрании?

Артур кивнул, и Монтанелли быстро переменял тему разговора.

— Я хотел поговорить о твоих делах, — начал он. — В мое отсутствие тебе будет нужен другой духовник.

— Но когда вы вернетесь, я ведь смогу прийти к вам на исповедь?

— Дорогой мой, что за вопрос! Я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня здесь не будет. Согласен ли ты взять в духовники кого-нибудь из отцов Санта-Катарины?<sup>[17]</sup>

— Согласен.

Они поговорили немного о других делах. Артур поднялся.

— Пора идти, падре. Меня ждут товарищи.

Мрачная тень снова пробежала по лицу Монтанелли.

— Уже? А я только начал отвлекаться от своих черных мыслей. Ну что ж, прощай!

— Прощайте. Завтра я опять приду.

— Приходи пораньше, чтобы я успел повидать тебя наедине. Завтра приезжает отец Карди. Артур, дорогой мой, прошу тебя, будь осторожен, не совершай необдуманных поступков, по крайней мере до моего возвращения. Ты не можешь себе представить, как я боюсь оставлять тебя одного!

— Напрасно, падре. Сейчас все совершенно спокойно, и так будет еще долгое время.

— Ну, прощай! — отрывисто сказал Монтанелли и склонился над письменным столом.

\* \* \*

Войдя в комнату, где происходило студенческое собрание, Артур прежде всего увидел своего товарища по детским играм, дочь доктора Уоррена. Она сидела у окна, в углу, и внимательно слушала, что говорил ей молодой высокий ломбардец в поношенном костюме — один из инициаторов движения. За последние несколько месяцев она сильно изменилась, развилась и теперь стала совсем взрослой девушкой. Только две толстые черные косы еще напоминали недавнюю школьницу. На ней было черное платье; голову она закутала черным шарфом, так как по комнате гулял сквозняк. На груди у нее была приколотая кипарисовая веточка — эмблема «Молодой Италии». Ломбардец с горячностью рассказывал ей о нищете калабрийских <sup>[18]</sup> крестьян, а она сидела молча и слушала, опершись подбородком на руки и опустив глаза. Артуру показалось, что перед ним предстало грустное видение: Свобода, оплакивающая утраченную Республику. А Джули увидела бы в ней только не в меру вытянувшуюся девочку с бледным лицом, неправильным носом и в старом, слишком коротком платье.

— Вы здесь, Джим! — проговорил Артур, подойдя к ней, когда ломбардца отозвали в другой конец комнаты.

Джим — было ее детское прозвище, уменьшительное от имени Дженифер, данного ей при крещении. Школьные подруги, итальянки, звали ее Джеммой.

Она удивленно подняла голову:

— Артур! А я и не знала, что вы входите в организацию!

— А я никак не ожидал встретить вас здесь, Джим! С каких пор вы...

— Да нет, — поспешно прервала она. — Я еще не состою членом. Мне удалось только исполнить два-три маленьких поручения. Я познакомилась с Бини... Вы знаете Карло Бини?

Бини был руководителем ливорнской организации, и его знала вся «Молодая Италия».

— Так вот, Бини завел со мной разговор об этих делах. Я попросила его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. Потом он написал мне во Флоренцию... <sup>[19]</sup> Вы знаете, что я была на рождестве во Флоренции?

— Нет, мне теперь редко пишут из дому.

— Ах, да! Так вот, я уехала во Флоренцию погостить к Райтам, моим подругам по школе. Тогда Бини написал мне, чтобы я по пути домой заехала в Пизу и пришла сегодня сюда. Ну, сейчас начнут.

В докладе говорилось об идеальной республике и о том, что молодежь обязана готовить себя к ней. Мысли докладчика были несколько туманны, но Артур слушал его с благоговейным восторгом. В этот период своей жизни он принимал все на веру и впитывал в себя новые нравственные идеалы, не задумываясь над ними.

Когда доклад и последовавшие за ним продолжительные прения окончились и студенты стали расходиться, Артур подошел к Джемме, которая все еще сидела в углу.

— Я провожу вас, Джим. Где вы остановились?

— У Мариетты.

— У старой экономки вашего отца?

— Да, она живет довольно далеко отсюда.

Некоторое время они шли молча. Потом Артур вдруг спросил:

— Сколько вам лет — семнадцать?

— Минуло семнадцать в октябре.

— Я всегда знал, что вы, когда вырастаете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и всей подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах!

— То же самое я думала о вас.

— Вы говорили, что Бини давал вам какие-то поручения. А я даже не знал, что вы с ним знакомы.

— Я делала это не для Бини, а для другого.

— Для кого?

— Для того, кто разговаривал со мной сегодня, — для Боллы.

— Вы его хорошо знаете?

В голосе Артура прозвучали ревнивые нотки. Ему был неприятен этот человек. Они соперничали в одном деле, которое комитет «Молодой Италии» в конце концов доверил Болле, считая Артура слишком молодым и неопытным.

— Я знаю его довольно хорошо. Он мне очень нравится. Он жил в Ливорно.

— Знаю... Он уехал туда в ноябре.

— Да, в это время там ждали прибытия пароходов<sup>[20]</sup>. Как вы думаете, Артур, не надежнее ли ваш дом для такого рода дел? Никому и в голову не придет подозревать семейство богатых судовладельцев. Кроме того, вы всех знаете в доках.

— Тише! Не так громко, дорогая! Значит, литература, прибывшая из Марселя, хранилась у вас?

— Только один день... Но, может быть, мне не следовало говорить вам об этом?

— Почему? Вы ведь знаете, что я член организации. Джемма, дорогая, как я был бы счастлив, если б к нам присоединились вы и... падре!

— Ваш падре! Разве он...

— Нет, убеждения у него иные. Но мне думалось иногда... Я надеялся...

— Артур, но ведь он священник!

— Так что же? В нашей организации есть и священники, Двое из них пишут в газете<sup>[21]</sup>. Да и что тут такого? Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам и целям, а разве не к этому мы стремимся? В конце концов, это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди готовы стать свободными гражданами, никто не может поработить их.

Джемма нахмурилась:

— Мне кажется, Артур, что ваша логика тут немножко хромает. Священник проповедует религиозное учение. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев.

— Священник — проповедник христианства, а Христос был величайшим революционером.

— Знаете, я говорила о священниках с моим отцом, и он...

— Джемма, ваш отец протестант.

После минутного молчания она смело взглянула ему в глаза:

— Давайте лучше прекратим этот разговор. Вы всегда становитесь нетерпимы, как только речь заходит о протестантах.

— Вовсе нет. Нетерпимость проявляют обычно протестанты, когда говорят о католиках.

— Я думаю иначе. Однако мы уже слишком много спорили об этом, не стоит начинать снова. Как вам понравилась сегодняшняя лекция?



— Очень понравилась, особенно последняя часть. Как хорошо, что он так решительно говорил о необходимости жить для республики, а не только мечтать о ней! Это соответствует учению Христа: «Царство божие внутри нас».

— А мне как раз не понравилась эта часть. Он так много говорил о том, что мы должны думать, чувствовать, какими мы должны быть, но не указал никаких практических путей, не говорил о том, что мы должны делать.

— Наступит время, и у нас будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перемены не совершаются в один день.

— Чем сложнее задача, тем больше оснований сейчас же приступить к ней. Вы говорите, что нужно подготовиться к свободе. А кто был лучше подготовлен к ней, чем ваша мать? Разве не ангельская была у нее душа? А к чему привела вся ее доброта? Она была рабой до последнего дня своей жизни. Сколько придирок, сколько оскорблений она вынесла от вашего брата Джеймса и его жены! Не будь у нее такого мягкого сердца и такого терпения, ей бы легче жилось, с ней так не обращались бы. Так и с Италией: для того, кто хочет подняться на защиту своих интересов, вовсе не нужно терпение.

— Джим, дорогая, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь.

Кровь прилила к его лицу и вновь отхлынула, когда он произнес последнее слово. Джемма не заметила этого — она смотрела прямо перед собой. Ее брови были сдвинуты, губы крепко сжаты.

— Вам кажется, что я неправа, Артур, — сказала она после небольшой паузы. — Нет, правда на моей стороне. В один прекрасный день вы убедитесь, в этом... Вот наш дом. Зайдете, может быть?

— Нет, уже поздно. Покойной ночи, дорогая!

Он стоял возле двери, крепко сжимая ее руку в своих:

— «Во имя бога и народа...»

И Джемма медленно, торжественно досказала незаконченный девиз:

— «...ныне и во веки веков».

Потом отняла свою руку и вбежала в дом. Когда дверь за ней захлопнулась, он нагнулся и поднял кипарисовую веточку, упавшую с ее груди.



## IV

Артур вернулся домой словно на крыльях. Он был счастлив, безоблачно счастлив. На собрании намекали на подготовку к вооруженному восстанию. Джемма была теперь его товарищем, и он любил ее. Они вместе будут работать, а может быть, даже вместе умрут в борьбе за грядущую республику. Вот она, весенняя пора их надежд! Падре увидит это и поверит ему.

Впрочем, на другой день Артур проснулся в более спокойном настроении. Он вспомнил, что Джемма собирается ехать в Ливорно, а падре — в Рим.

Январь, февраль, март — три долгих месяца до пасхи! Чего доброго, Джемма, вернувшись к своим, подпадет под протестантское влияние (на языке Артура слова «протестант» и «филистер»<sup>[22]</sup> были тождественны по смыслу). Нет, Джемма никогда не будет флиртовать, кокетничать и охотиться за туристами и лысыми судохозяевами, как другие английские девушки в Ливорно: она совсем другая. Но она, вероятно, очень несчастна. Такая молодая, без друзей, и так ей, должно быть, одиноко среди всех этих деревяшек... О, если бы мать была жива!

Вечером он зашел в семинарию и застал Монтанелли за беседой с новым ректором. Вид у него был усталый, недовольный. Вместо обычной радости падре при виде Артура потемнел лицом.

— Вот и он сам, тот студент, о котором я вам говорил, — сухо сказал Монтанелли, представляя Артура новому ректору. — Буду вам очень обязан, если вы разрешите ему пользоваться библиотекой и впредь.

Отец Карди — пожилой, благодушного вида священник — сразу же заговорил с Артуром об университете. Свободный, непринужденный тон его показывал, что он хорошо знаком с жизнью студенчества. Разговор быстро перешел на слишком строгие порядки в университете — тогдашний злободневный вопрос.

К великой радости Артура, новый ректор резко критиковал университетское начальство за те бессмысленные ограничения, которыми оно раздражало студентов.

— У меня большой опыт по воспитанию юношества, — сказал он. — Ни в чем не мешать молодежи без достаточных оснований — вот мое правило. Если с молодежью хорошо обращаться, относиться к ней с уважением, то совсем немного юношей доставят старшим большие огорчения. Но ведь и смиренная лошадь станет брыкаться, если постоянно дергать поводья.

Артур широко открыл глаза. Он не ожидал найти в новом ректоре такого защитника студенческих интересов. Монтанелли не принимал участия в разговоре, видимо не интересуясь этим вопросом. Вид у него был такой усталый, такой подавленный, что отец Карди вдруг сказал:

— Боюсь, я вас утомил, отец каноник. Простите мою болтливость. Я слишком горячо принимаю к сердцу этот вопрос и забываю, что другим он, может быть, надоел.

— Напротив, меня это очень интересует.

Монтанелли никогда не удавалась казенная вежливость, и Артура покорило от его тона.

Когда отец Карди ушел, Монтанелли повернулся к Артуру и посмотрел на него с тем задумчивым, озабоченным выражением, которое весь вечер не сходило с его лица.

— Артур, дорогой мой, — начал он тихо, — мне надо поговорить с тобой.

«Должно быть, он получил какое-нибудь неприятное известие», мелькнуло в голове Артура, когда он встревоженно посмотрел на осунувшееся лицо Монтанелли.

Наступила длинная пауза.

— Как тебе нравится новый ректор? — спросил вдруг Монтанелли.

Вопрос был настолько неожиданным, что Артур не знал, что ответить.

— Мне? Очень нравится... Впрочем, я и сам еще хорошенько не знаю. Трудно распознать человека с первого раза.

Монтанелли сидел, слегка постукивая пальцами по ручке кресла, как он всегда делал, если его что-нибудь смущало или беспокоило.

— Что касается этой поездки в Рим, — снова заговорил он, — то если ты имеешь что-нибудь против... если ты хочешь, Артур, я напишу в Рим, что не поеду.

— Падре! Но Ватикан...

— Ватикан найдет кого-нибудь другого. Я пошлю им свои извинения.

— Но почему? Я не могу понять.

Монтанелли провел рукой по лбу.

— Я беспокоюсь за тебя. Не могу отделаться от мысли, что... Да и потом, в этом нет необходимости...

— А как же с епископством?

— Ах, Артур! Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю...

Он запнулся. Артур был очень встревожен. Он никогда не видел падре в таком состоянии.

— Я ничего не понимаю, — растерянно проговорил он. — Падре, скажите... скажите прямо, что вас волнует?

— Ничего. Меня просто мучит беспредельный страх. Признайся: тебе грозит опасность?

«Он что-нибудь, слышал», подумал Артур, вспоминая толки о подготовке к восстанию. Но, зная, что разглашать эту тайну нельзя, он ответил вопросом:

— Какая же опасность может мне грозить?

— Не спрашивай меня, а отвечай! — Голос Монтанелли от волнения стал почти резким. — Грозит тебе что-нибудь? Я не хочу знать твои тайны. Скажи мне только это.

— Все мы в руках божьих, падре. Все может случиться. Но у меня нет никаких оснований думать, что я не буду жив и невредим, когда вы возвратитесь.

— Когда я возвращусь... Слушай, сагино, я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только: останьтесь, и я откажусь от поездки. Никто от этого ничего не потеряет, а ты, я уверен, будешь в большей безопасности при мне.

Такая мнительность была настолько чужда Монтанелли, что Артур с тревогой взглянул на него:

— Падре, вы нездоровы. Ясное дело, вам нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует и отделаться от бессонницы и головных болей.

— Хорошо, — прервал его Монтанелли, словно ему надоел этот разговор. — Завтра я еду с первой почтовой каретой.

Артур в недоумении взглянул на него.

— Вы, кажется, хотели сказать мне что-то? — проговорил он.

— Нет, нет, больше ничего... Ничего особенного.

В глазах Монтанелли застыло выражение тревоги, почти страха.

\* \* \*

Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашел в библиотеку семинарии за книгой и встретился на лестнице с отцом Карди.

— А, мистер Бертон! — воскликнул ректор. — Вас-то мне и нужно. Пожалуйста, зайдите ко мне, я рассчитываю на вашу помощь в одном трудном деле.

Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошел туда с затаенным чувством неприязни.

Ему тяжело было видеть, что этот рабочий кабинет, святилище падре, теперь занят другим человеком.

— Я отчаянный книжный червь, — сказал ректор. — Первое, за что я принялся на новом месте, — это пересмотр библиотеки. Библиотека очень интересна, но я не понимаю, по какой системе составлялся каталог.

— Он не полон. Значительная часть ценных книг поступила недавно.

— Не уделите ли вы полчаса, чтобы объяснить мне систему расстановки книг?

Они вошли в библиотеку, и Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:

— Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота — до понедельника занятия можно закончить. Оставайтесь, поужинаем вместе — все равно сейчас уже поздно. Я теперь совсем один и буду рад вашему обществу.

Его обращение было так непринужденно и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно легко. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, давно ли он знает Монтанелли.

— Около семи лет, — ответил Артур., — Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать.

— А, да! Там он и приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор он руководил вашим образованием?

— Падре начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в университет, он продолжал помогать мне по тем предметам, которые не входили в университетский курс. Он очень хорошо ко мне относится, вы и представить себе не можете, как хорошо!

— Охотно верю. Этим человеком нельзя не восхищаться: прекрасная, благороднейшая душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в трудные минуты, его несокрушимую веру. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководил такой человек. Я понял из его слов, что вы рано лишились родителей.

— Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, мать — год тому назад.

— Есть у вас братья, сестры?

— Нет, только сводные братья... Но они были уже взрослыми людьми, когда меня еще нянчили.

— Вероятно, у вас было одинокое детство, потому-то вы так и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отсутствия?

— Я думал обратиться к отцам Санта-Катарины, если у них не слишком много исповедующихся.

— Хотите исповедоваться у меня?

Артур удивленно раскрыл глаза:

— Ваше преподобие, конечно, я... я буду очень рад, но только...

— Только ректор духовной семинарии обычно не исповедует мирян? Это верно. Но я знаю, что каноник Монтанелли очень заботится о вас и, если не ошибаюсь, тревожится о вашем благополучии. Я бы тоже тревожился, случись мне расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега

печется о вашей душе. Кроме того, сын мой, скажу вам откровенно: вы мне очень нравитесь, и я буду рад помочь вам всем, чем могу.

— Если так, то я, разумеется, буду вам очень признателен.

— В таком случае, я могу ждать вас на исповедь в будущем месяце? Прекрасно! А кроме того, заходите ко мне, мой мальчик, как только у вас выдастся свободный вечер.

\* \* \*

Незадолго до пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле, небольшом округе, расположенном в Этрусских Апеннинах. Монтанелли спокойно и радостно писал об этом Артуру из Рима; очевидно, его угнетенное настроение прошло. «Ты должен навещать меня каждые каникулы, — писал он, — а я обещаю приезжать в Пизу. Надеюсь, мы таким образом будем видеться с тобой, хоть и не так часто, как мне бы хотелось».

Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье, а не в мрачном, кишасщем крысами старом дворце, где теперь безраздельно царила Джули. В письмо была вложена нацарапанная неровным, детским почерком записочка, в которой Джемма тоже просила его приехать к ним, если это возможно. «Мне нужно переговорить с вами кое о чем», писала она.

Еще больше волновали и радовали Артура ходившие между студентами слухи. Все ожидали после пасхи больших событий.

Все это привело Артура в такое восторженное состояние, что все самые невероятные вещи, о которых шептались студенты, казались ему вполне реальными и близкими к осуществлению.

Он решил поехать домой в четверг на страстной неделе и провести первые дни отпуска там, чтобы не нарушить радостью свидания с Джеммой того торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих детей в эти дни. В среду вечером он написал Джемме, что приедет в пасхальный понедельник, и с миром в душе пошел спать.

Он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь долгой и усердной молитвой ему надлежало подготовить себя к этой последней перед пасхальным



причастием исповеди. Стоя на коленях, со скрещенными руками и склоненной головой, он вспоминал день за днем весь прошедший месяц и пересчитывал свои маленькие грехи — нетерпение, раздражительность, небрежность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту. Кроме этого, Артур ничего не мог вспомнить: в счастливые дни много не нагрестишь. Он перекрестился, встал с колен и начал раздеваться.

Когда он расстегнул рубашку, из-под нее выпал клочок бумаги. Это была записка Джеммы, которую он носил целый день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал милые каракули; потом снова сложил листок, вдруг устыдившись своей смешной выходки, и в эту минуту заметил на обороте приписку:

«Непременно будьте у нас, и как можно скорее; я хочу познакомить вас с Боллой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе».

Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки.

«Вечно этот Болла! Что ему снова понадобилось в Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными делами? Уже в январе на собрании легко было понять, что Болла влюблен в нее. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле нее, ежедневно занимается с ней...»

Порывистым жестом Артур отбросил в сторону записку и снова опустился на колени перед распятием.

И это — душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, готовая примириться с господом, с собой, со всем миром! Значит, она способна на низкую ревность и подозрения, способна питать зависть и мелкую злобу, да еще к товарищу! В порыве горького самоуничтожения Артур закрыл лицо руками. Всего пять минут назад он мечтал о мученичестве, а теперь сразу пал до таких недостойных, низких мыслей!..

В четверг Артур вошел в домашнюю церковь семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя молитву перед исповедью, он сразу заговорил о своем проступке.

— Отец мой, я грешен — грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не сделал мне никакого зла.

Отец Карди отлично понимал, с кем имеет дело. Он мягко сказал:

— Вы не все мне открыли, сын мой.

— Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать.

— Вы связаны с ним кровными узами?

— Еще теснее.

— Что же вас связывает, сын мой?

— Узы товарищества.

— Товарищества? В чем?

— В великой и священной работе.

Последовала небольшая пауза.

— И ваша злоба к этому... товарищу, ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе?

— Да... отчасти. Я позавидовал его опыту, его значению... И затем... я думал... я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки... которую я люблю.

— А эта девушка, которую вы любите, дочь святой церкви?

— Нет, она протестантка.

— Еретичка?

Артур в глубоком горе стиснул руки.

— Да, еретичка, — повторил он. — Мы вместе воспитались. Наши матери были друзьями. И я... позавидовал ему, так как понял, что он тоже любит ее... и...

— Сын мой, — медленно, серьезно заговорил отец Карди после минутного молчания, — вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть.

— Отец, я...

Артур запнулся. Исповедник молча ждал.

— Я позавидовал ему потому, что организация... «Молодая Италия», к которой я принадлежу...

— Да?

— Доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне... Я считал себя особенно пригодным для него.

— Какое же это дело?

— Приемка книг с пароходов... политических книг. Их нужно было взять... и подыскать для них помещение в городе.

— И эту работу организация поручила вашему сопернику?

— Да, Болле... и я позавидовал этому.

— А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которая была возложена на него?

— Нет, отец, Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и я должен был бы питать к нему любовь и уважение.

Отец Карди задумался.

— Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару господню. Все блага — дела его рук. И рождение ваше в новую жизнь — от него же. Если вы обрели путь к жертве, нашли дорогу, которая ведет к миру, если вы соединились с любимыми товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит, то позаботьтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это — святое и великое дело и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себялюбия. Это призвание, так же как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоропреходящих страстей. Оно *во имя бога и народа, ныне и во веки веков.*

— О-о! — Артур всплеснул руками, пораженный. Он чуть не разрыдался, услышав знакомый девиз. — Отец мой, вы даете нам благословение церкви! С нами Христос!

— Сын мой, — торжественно ответил священник, — Христос изгнал меня из храма, ибо дом его — дом молитвы, а они его сделали вертепом разбойников. <sup>[23]</sup>

После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:

— И Италия будет храмом его, когда их изгонят...

Он замолчал. В ответ раздался мягкий голос:

— «Земля и все ее богатства — мои», сказал господь.

## V

Весь этот день Артуру хотелось ходить без конца. Он поручил свои вещи товарищу-студенту, а сам отправился в Ливорно пешком.

День был сырой и облачный, но не холодный, и равнина, по которой он шел, казалась ему прекрасной, как никогда. Он испытывал наслаждение, ощущая мягкую влажную траву под ногами, всматриваясь в робкие глазки придорожных весенних цветов. У опушки леса птица свивала гнездо в кусте желтой акации и при его появлении с испуганным криком взвилась на воздух, затрепетав темными крылышками.

Артур пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канун великой пятницы. Но два образа — Монтанелли и Джеммы — все время мешали его намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к величию и славе грядущего восстания и к той роли, которую он предназначал в нем двум своим идолам. Падре был в его воображении вождем, апостолом, пророком, перед священным гневом которого исчезали все темные силы. У его ног юные защитники свободы должны будут сызнова учиться старой вере и старым истинам в их новом, неизведанном доселе значении.

А Джемма? Джемма будет сражаться на баррикадах. Джемма рождена, чтобы стать героиней. Это верный товарищ. Это та чистая и бесстрашная девушка, о которой мечтало столько поэтов. Джемма станет рядом с ним, плечо к плечу, и они с радостью встретят крылатый вихрь смерти. Они умрут вместе в час победы, ибо победа не может не притти. Он ничего не скажет ей о своей любви, ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить ее душевный мир и омрачить ее товарищеские чувства. Она святыня, беспорочная жертва, которой суждено быть возложенной на алтарь за свободу народа. И разве он посмеет войти в святая святых души, не знающей иной любви, кроме любви к богу и Италии?

Бог и Италия... Капли дождя упали на его голову, когда он входил в большой мрачный дом на Дворцовой улице. На лестнице его встретил

дворецкий Джули, безукоризненно одетый, спокойный и, как всегда, вежливо-недоброжелательный.

— Добрый вечер, Гиббонс. Братья дома?

— Мистер Томас и миссис Бертон дома. Они в гостиной.

Артур с тяжелым чувством вошел в комнаты. Какой тоскливый дом! Поток жизни несся мимо, не заливая его. В нем ничто не менялось: все те же люди, все те же фамильные портреты, все та же дорогая безвкусная обстановка и безобразные блюда на стенах, все то же мещанское чванство богатством, все тот же безжизненный отпечаток, лежащий на всем. Даже цветы в бронзовых жардиньерках казались искусственными, вырезанными из металла, словно в теплые весенние дни в них никогда не бродил молодой сок.

Джули сидела в гостиной, бывшей центром ее существования, и ожидала к обеду гостей. В вечернем туалете, с застывшей улыбкой, белокурыми локонами и комнатной собачкой на коленях, она напоминала картинку из модного журнала.

— Как поживаешь, Артур? — спросила она сухо, протянув ему на секунду кончики пальцев и перенеся их тотчас же на более приятную на ощупь шелковистую шерсть собачки. — Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься?

Артур произнес первую банальную фразу, которая пришла ему в голову, и погрузился в тягостное молчание. Не внес оживления и приход торжественно-чванного Джеймса в обществе пожилого чопорного агента какой-то пароходной компании. И когда Гиббонс доложил, что обед подан, Артур встал с легким вздохом облегчения:

— Я не буду сегодня обедать, Джули. Прошу извинить меня, но я пойду к себе.

— Ты слишком строго соблюдаешь пост, мой мальчик, — сказал Томас, — Я уверен, что это кончится болезнью.

— О нет! Спокойной ночи.

В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов утра.

— Синьорино<sup>[24]</sup> пойдет в церковь?

— Да. Спокойной ночи, Тереза.

Он вошел в свою комнату. Она принадлежала раньше его матери, и альков против окна во время ее долгой болезни был превращен в молельню. Большое распятие на черном пьедестале занимало середину

алтаря. Перед ним висела лампада. В этой комнате мать умерла. Над постелью висел ее портрет, на столе стояла китайская ваза с букетом фиалок — ее любимых цветов. Минул уже год со дня смерти синьоры Глэдис, но слуги-итальянцы не забыли ее.

Артур вынул из чемодана тщательно завернутый портрет в рамке. Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли, за несколько дней до того присланный из Рима. Он стал разворачивать свое сокровище, но в эту минуту в комнату с подносом в руках вошел лакей Джули. Старая кухарка-итальянка, служившая Глэдис до появления в доме новой, строгой хозяйки, устала этот поднос всякими вкусными вещами, которые, как она полагала, дорогой синьорино мог бы съесть, не нарушая церковных обетов. Артур от всего отказался, за исключением кусочка хлеба, и лакей, племянник Гиббонса, многозначительно ухмыльнулся, уходя с подносом из комнаты.

Артур вошел в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя для молитвы, и благочестивых размышлений. Но ему долго не удавалось это. Он и в самом деле, как сказал Томас, слишком усердствовал в соблюдении поста. Лишения, которым он себя подвергал, действовали, как крепкое вино. По его спине пробежала легкая дрожь, распятие расплылось перед глазами, словно в тумане. Он произнес несколько раз длинную молитву и только после этого смог сосредоточиться на тайне искупления. Наконец крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум.

Артур крепко спал, когда в дверь его комнаты кто-то постучался нетерпеливо и громко.

«А, Тереза», подумал он, лениво поворачиваясь На другой бок.

Постучали второй раз. Он сильно вздрогнул и проснулся.

— Синьорино! Синьорино! — крикнул мужской голос. —  
Вставайте, ради бога!

Артур вскочил с кровати:

— Что случилось? Кто там?

— Это я, Джан Баттиста. Заклинаю вас именем пресвятой девы!  
Вставайте скорее!

Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное от ужаса лицо кучера, но, услышав звук шагов

и лязг металла в коридоре, понял все.

— За мной? — спросил он спокойно.

— За вами! Торопитесь, синьорино! Что нужно спрятать? Я могу...

— Мне нечего прятать. Братья знают?

Из-за угла коридора показался первый мундир.

— Синьора разбудили. Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе! И еще в страстную пятницу! Угодники божи, сжальтесь над нами!

Джиан Баттиста разрыдался. Артур сделал несколько шагов вперед, навстречу жандармам, которые, громыхая саблями, входили в комнату в сопровождении дрожащих слуг, одетых во что попало. Артура окружили. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он — в туфлях и в халате, она — в длинном пенюаре и с папильотками.

«Как будто наступает второй потоп и звери, спасаясь, бегут в ковчег! Вот, например, какая забавная пара!» мелькнуло у Артура при виде этих нелепых фигур, и он едва удержался от смеха, чувствуя всю неуместность его в такую серьезную минуту.

— Ave, Maria, Regina Coeli... [25] — прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть папильоток Джули, введивших его в искушение.

— Будьте добры объяснить мне, — сказал мистер Бертон, приближаясь к жандармскому офицеру, — что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придется обратиться к английскому посланнику, если вы не дадите удовлетворительных объяснений.

— Думаю, что объяснение удовлетворит и вас и английского посланника, — сухо сказал офицер.

Он развернул приказ об аресте студента философского факультета Артура Бертон и вручил его Джеймсу, холодно прибавив:

— Если вам понадобятся дальнейшие объяснения, советую лично обратиться к начальнику полиции.

Джули вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала ее глазами и накинулась на Артура с той грубостью, на какую способна только пришедшая в бешенство благовоспитанная леди.

— Ты опозорил нашу семью! — кричала она. — Теперь вся городская чернь будет глазеть на нас. Вот куда тебя привело твое благочестие — в тюрьму! Впрочем, чего же было и ждать от сына католички...

— Сударыня, с арестованным на иностранном языке говорить не полагается, — прервал ее офицер, но его слова потонули в потоке обвинений, которыми сыпала по-английски Джули:

— Этого надо было ожидать! Пост, молитвы, благочестивые размышления — и вот что за этим скрывалось! Я так и думала!

Доктор Уоррен сравнил как-то Джули с салатом, в который повар вылил целую бутылку уксуса. От ее тонкого, пронзительного голоса у Артура стало кисло во рту, и он сразу вспомнил это сравнение.

— Какой смысл говорить об этом? — сказал он. — Вам нечего опасаться неприятностей. Все знают, что вы совершенно ни при чем. Я полагаю, — прибавил он, обращаясь к жандармам, — вы хотите осмотреть мои вещи? Мне нечего скрывать.

Пока жандармы обыскивали комнату, выдвигали ящики, читали его письма, просматривали университетские записи, Артур сидел на краю постели. Он был несколько взволнован, но тревоги не чувствовал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италии», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды.

После долгого сопротивления Джули уступила уговорам своего шурина и пошла спать, проплыв мимо Артура с презрительно-величественным видом. Джеймс покорно последовал за ней.

Когда они вышли из комнаты, Томас, который все это время шагал взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, подошел к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Тот кивнул вместо ответа, и Томас, подойдя к Артуру, пробормотал хриплым голосом:

— Ужасно неприятная история! Я очень огорчен.

Артур взглянул на него глазами, ясными, как солнечное утро.

— Вы всегда были добры ко мне, — сказал он. — Вам нечего беспокоиться. Мне ничто не угрожает.

— Послушай, Артур! — Томас дернул себя за ус и решил говорить напрямик. — Эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам?.. Если так, то я...

— К денежным делам? Нет, конечно. При чем тут...



— Значит, политика? Я так и думал. Ну что же делать... Не падай духом и не обращай внимания на Джули, ты ведь знаешь, какой у нее язык. Так вот, если нужна будет моя помощь — деньги или еще что-нибудь, — дай мне знать, хорошо?

Артур, молча протянул ему руку, и Томас вышел из комнаты, стараясь придать своему тупому лицу как можно более равнодушное выражение.

Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер предложил Артуру надеть пальто. Артур хотел уже выйти из комнаты и вдруг остановился на пороге: ему было тяжело прощаться с молельной матери в присутствии жандармов.

— Вы не могли бы выйти на минуту? — спросил он. — Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего.

— Мне очень жаль, но арестованных запрещено оставлять одних.

— Хорошо, пусть так.

Он вошел в альков, преклонил колена и, поцеловав распятие, прошептал:

— Господи, дай мне силы быть верным до конца.

Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.

— Это ваш родственник? — спросил он.

— Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бризигеллы.

На лестнице его ожидали слуги-итальянцы, встревоженные и опечаленные. Артур, как и его мать, пользовался любовью в доме, и теперь слуги теснились вокруг него, горестно целовали ему руки и платье. Джиан Баттиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие еще более подчеркивало преданность и любовь слуг, и Артур едва не заплакал, пожимая протянутые руки:

— Прощай, Джиан Баттиста, поцелуй своих малышей! Прощайте, Тереза! Молитесь за меня, и да хранит вас бог! Прощайте, прощайте...

Он быстро сбежал с лестницы.

Прошла минута, и карета отъехала, провожаемая маленькой группой безмолвных мужчин и рыдающих женщин.

## VI

Артур был заключен в огромную средневековую крепость, расположенную у самой гавани. Его посадили в одиночную камеру, и хотя надзор был не так строг, как он ожидал, все-таки объяснения причины своего ареста ему не удалось получить. Тем не менее Артура не покидало то душевное спокойствие, с каким он вошел в крепость. Ему не разрешали читать, и все время он проводил в молитве и благочестивых размышлениях, терпеливо ожидая дальнейших событий.

Однажды утром часовой отпер дверь камеры и сказал:

— Пожалуйте!

После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещено», Артур покорился и пошел за солдатом по лабиринту пропитанных сыростью дворов, коридоров и лестниц. Наконец его ввели в большую светлую комнату, где за длинным столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами, лениво переговариваясь, сидели трое военных. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с седыми бакенбардами, указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному допросу.

Артур ожидал угроз, оскорблений, брани и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник держался чопорно, по-казенному сухо, но с безукоризненной вежливостью. Последовали обычные вопросы: имя, возраст, национальность, общественное положение; ответы записывались в монотонной последовательности.

Артур уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:

— Ну, а теперь, мистер Бертон, что вам известно о «Молодой Италии»?

— Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.

— Вы читали эту газету?

— Да. Я интересовался этим вопросом.

— А когда вы читали ее, приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?

— Конечно.

— Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате?

— Этого я не могу вам сказать.

— Мистер Бертон, вы не должны говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы.

— В таком случае — не хочу, если вам не нравится «не могу».

— Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом, — заметил полковник.



Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Могу еще прибавить, что, по имеющимся у нас сведениям, ваши отношения к этому обществу были гораздо ближе — они заключались не только в чтении запрещенной литературы. Для вас же будет лучше, если вы откровенно сознаетесь во всем. Так или иначе, мы узнаем правду, и вы убедитесь, что выгораживать себя и заператься бесполезно.

— У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать?

— Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дела.

— Я много думал об этих вопросах, много читал и пришел к определенным выводам.

— Кто убедил вас присоединиться к этому обществу?

— Никто. Это было моим личным желанием.

— Вы меня дурачите! — резко сказал полковник. Терпение, очевидно, начинало изменять ему. — К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Кому вы говорили о своем желании стать членом этой организации?

Молчание.

— Будьте любезны ответить.

— На такие вопросы я не стану отвечать.

В голосе Артура послышались угрюмые нотки. Какое-то странное раздражение овладевало им. Он уже знал об арестах, произведенных в Ливорно и Пизе, хотя и не представлял себе истинных масштабов разгрома. Но и того, что дошло до его сведения, было достаточно, чтобы вызвать в нем лихорадочную тревогу за участь Джеммы и остальных друзей.

Притворная вежливость офицера, этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы беспокоили и злили его, а тяжелые шаги часового за дверью действовали ему на нервы.

— Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джиованни Боллой? — спросил вдруг полковник. — Перед вашим отъездом из Пизы?

— Это имя мне незнакомо.

— Как! Джиованни Болла? Вы его прекрасно знаете. Молодой человек высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету.

— Я знаком далеко не со всеми студентами.

— Боллу вы должны знать. Посмотрите: вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает.

И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стояло: «Протокол», а внизу была подпись: «Джиованни Болла». Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза.

— Вы хотите, чтобы я прочел это? — спросил он.

— Да, конечно. Это касается вас.

Артур начал читать, а офицеры молча наблюдали за выражением его лица. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. Очевидно, Болла тоже арестован! Первые показания были самые обычные. Затем следовал краткий отчет о связях Боллы с обществом, о распространении в Ливорно запрещенной литературы и о студенческих собраниях. А дальше стояло:

«В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин, по имени Артур Бертон, из семьи богатых ливорнских судовладельцев».

Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его! Болла, который принял на себя высокую обязанность руководителя, Болла, который завербовал Джемму... и был влюблен в нее! Он положил бумагу и опустил глаза.

— Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память? — вежливо заметил полковник.

Артур покачал головой.

— Я не знаю этого имени, — повторил он сухим, твердым голосом. — Тут, вероятно, какая-то ошибка.

— Ошибка? Вздор! Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донкихотство — прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте: стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность из-за пустой формальности? Вы щадите человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас.

Что-то вроде насмешки послышалось в голосе полковника. Артур вздрогнул; внезапная догадка пронеслась у него в голове.

— Это ложь! Вы совершили подлог! Я вижу это по вашему лицу! — крикнул он. — Вы хотите скомпрометировать кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне! Обманщик, лгун, подлец...

— Молчать! — закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула.

Его коллеги были уже на ногах.

— Капитан Томмасы, — сказал он, обращаясь к одному из них, — вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке, его нужно образумить.

Карцер был темной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того чтобы «образумить» Артура, он довел его до последней степени раздражения. Богатый дом, в котором он вырос, воспитал в нем крайнюю требовательность ко всему, что касается чистоплотности, и оскорбленный полковник вполне мог бы удовлетвориться первым впечатлением, которое произвели на Артура липкие, покрытые плесенью стены, заваленный кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасное зловоние, распространявшееся от сточных труб и прогнившего дерева. Артура втолкнули в эту конуру и захлопнули за ним дверь; он осторожно шагнул вперед и, вытянув руки, содрогаясь от отвращения, когда пальцы его касались скользкой стены, наощупь отыскал в потемках место на полу, где было меньше грязи.

Он провел целый день в непроглядном мраке и в полной тишине; ночь не принесла никаких перемен. Лишенный внешних впечатлений, он постепенно терял представление о времени. И когда на следующее утро в замке щелкнул ключ и перепуганные крысы с писком прошмыгнули мимо его ног, он вскочил в ужасе. Сердце его отчаянно билось, а в ушах стоял шум, словно он был лишен света и звуков долгие месяцы, а не несколько часов.

Дверь отворилась, пропуская в камеру слабый свет фонаря, показавшийся Артуру ослепительным. Старший надзиратель принес кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул вперед. Он был уверен, что его выпустят отсюда. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель сунул ему хлеб и воду, повернулся и молча вышел, захлопнув за собой дверь.

Артур топнул ногой. Впервые в жизни он почувствовал ярость. С каждым часом он все больше и больше утрачивал представление о месте и времени. Темнота казалась ему безграничной, без начала и конца. Жизнь как будто остановилась.

На третий день вечером, когда в карцере снова появился надзиратель, теперь уже в сопровождении солдата, Артур растерянно посмотрел на них, защитив глаза от непривычного света и тщетно

стараясь подсчитать, сколько часов, дней или недель он пробыл в этой могиле.

— Пожалуйте, — холодным, деловым тоном произнес надзиратель.

Артур машинально побрел за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, словно пьяный. Он отстранил руку надзирателя, хотевшего помочь ему подняться по крутой, узкой лестнице, которая вела во двор, но, ступив на верхнюю ступеньку, вдруг почувствовал дурноту, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы надзиратель не поддержал его за плечо.

\* \* \*

— Ничего, оправится, — произнес чей-то веселый голос, — это с каждым бывает, кто выходит оттуда на воздух.

Артур с мучительным трудом перевел дыхание, когда ему брызнули водой в лицо. Темнота, казалось, отваливалась от него, с шумом распадаясь на куски.

Он сразу очнулся и, оттолкнув руку надзирателя, почти твердым шагом прошел коридор и лестницу. Они остановились перед дверью; когда дверь открылась, Артур вошел в освещенную комнату, где его допрашивали в первый раз. Не сразу узнав ее, он недоумевающим взглядом окинул стол, заваленный бумагами, и офицеров, сидевших на прежних местах.

— А, мистер Бертон! — проговорил полковник. — Надеюсь, теперь мы будем сговорчивее. Ну, как вам понравился карцер? Не правда ли, он не так роскошен, как гостиная вашего брата?

Артур поднял глаза на улыбающееся лицо полковника. Им овладело безумное желание броситься, на этого щеголя с седыми бакенбардами и вгрызться ему в горло. Очевидно, это отразилось на его лице, потому что полковник сейчас же прибавил уже совершенно другим тоном:

— Сядьте, мистер Бертон, и выпейте воды — я вижу, вы взволнованы.

Артур оттолкнул предложенный ему стакан и, облокотившись о стол, положил руку на лоб, силясь собраться с мыслями. Полковник внимательно наблюдал за ним, подмечая опытным глазом и дрожь в



руках, и трясущиеся губы, и мокрые волосы, и тусклый взгляд — все, что говорило о физической слабости и нервном переутомлении.

— Мистер Бертон, — снова начал полковник после нескольких минут молчания, — мы вернемся к тому, на чем остановились в прошлый раз. Тогда у нас с вами произошла маленькая неприятность, но теперь — я сразу же должен сказать вам это — у меня единственное желание: быть снисходительным. Если вы будете вести себя должным образом, с вами обойдутся без излишней строгости.

— Чего вы хотите от меня?

Артур произнес это совсем несвойственным ему резким, мрачным тоном.

— Мне нужно только, чтобы вы сказали откровенно и честно, что вам известно об этом обществе и его членах. Прежде всего, как давно вы знакомы с Боллой?

— Я его никогда не встречал. Мне о нем ровно ничего не известно.

— Неужели? Хорошо, мы скоро вернемся к этому. Может быть, вы знаете молодого человека по имени Карло Бини?

— Никогда не слыхал о таком.

— Это уж совсем странно. Ну, а что вы можете сказать о Франческо Нери?

— Никогда не слышал этого имени.

— Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой! Взгляните.

Артур бросил небрежный взгляд на письмо и отложил его в сторону.

— Оно вам знакомо?

— Нет.

— Вы отрицаете, что это ваш почерк?

— Я ничего не отрицаю. Я не помню такого письма.

— Может быть, вы вспомните вот это?

Ему передали второе письмо. Он узнал в нем то, которое писал осенью одному товарищу-студенту.

— Нет.

— И не знаете лица, которому оно адресовано?

— Не знаю.

— У вас удивительно короткая память.

— Это мой давнишний недостаток.

— Вот как! А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают неспособным. Скорее наоборот.

— Вы судите о способностях, вероятно, с полицейской точки зрения. Профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле.

Нотка нарастающего раздражения явственно слышалась в голосе Артура. Голод, спертый воздух и бессонные ночи подорвали его силы. У него ныла каждая косточка, а голос полковника действовал ему на нервы, точно царапанье грифеля по доске.

— Мистер Бертон, — строго сказал полковник, откинувшись на спинку кресла, — вы опять забываетесь. Я предостерегаю вас еще раз, что подобный тон не доведет вас до добра. Вы уже познакомились с карцером, и вряд ли вам захочется попасть в него вторично. Скажу вам прямо: если мягкость на вас не подействует, я применю к вам строгие меры. Помните, у меня есть доказательства — веские доказательства, — что некоторые из названных мною молодых людей занимались тайной доставкой запрещенной литературы через здешний порт и что вы были в сношениях с ними. Так вот, намерены ли вы сказать добровольно, что вы знаете обо всем этом?

Артур еще ниже опустил голову. Слепая ярость шевелилась в нем, точно живое существо. И мысль, что он может потерять самообладание, испугала его больше, чем угрозы. Он в первый раз ясно понял, что таится за внешней оболочкой джентльмена и за смирением христианина, и испугался самого себя.

— Я жду ответа, — сказал полковник.

— Мне нечего вам отвечать.

— Так вы решительно отказываетесь говорить?

— Я ничего не скажу.

— В таком случае, мне придется распорядиться, чтобы вас вернули в карцер и держали там до тех пор, пока ваше решение не переменится. Если вы не образумитесь и в дальнейшем, я прикажу надеть на вас кандалы.

Артур поднял голову. По телу его пробежала дрожь.

— Вы можете делать что вам угодно, — сказал он тихо. — Но допустит ли английский посланник, чтобы так обращались с британским подданным без всяких доказательств его виновности?

...Наконец Артура увели в прежнюю камеру, где он повалился на койку и проспал до следующего утра. Кандалов на него не надели и в страшный карцер не перевели, но вражда между ним и полковником росла с каждым допросом.

Напрасно воссылал Артур молитвы к богу о том, чтобы он даровал ему силы побороть в себе злобу, напрасно размышлял он целые ночи о терпении и кротости Христа. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый зеленым сукном, как только он видел перед собой нафабранные усы полковника, ненависть снова овладевала им, толкала его на злые, презрительные ответы. Еще не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их взаимное раздражение достигло такой степени, что они не могли взглянуть друг на друга без гнева.

Постоянное напряжение этой борьбы начинало уже заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них беладонной<sup>[26]</sup> чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать. Когда ночью мимо него пробежала крыса, он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прчется в его камере и подслушивает, не говорит ли он во сне.

Жандармы явно старались поймать его на каком-нибудь признании, которое могло бы уличить Боллу. И страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьезный промах. Денно и ночью имя Боллы звучало у него в ушах, не сходя с языка и во время молитвы; он шептал его вместо имени «Мария», перебирая четки. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него вместе со всем внешним миром. С лихорадочным упорством Артур цеплялся за эту последнюю поддержку, проводя в молитве и благочестивых размышлениях по несколько часов. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к Болле, и слова молитв он повторял машинально.

Огромным утешением для Артура был старший тюремный надзиратель. Этот толстенный лысый старичок сначала изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но прирожденная доброта, сквозившая в каждой ямочке его пухлого лица, одержала верх над чувством долга, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую.

Как-то днем в середине мая надзиратель вошел в камеру с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него.

— В чем дело, Энрико? — воскликнул он. — Что с вами сегодня случилось?

— Ничего, — грубо ответил Энрико и, подойдя к койке, рванул с нее плед Артура.

— Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру?

— Нет, вас выпускают.

— Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают?.. Энрико!

Артур в волнении схватил старика за руку, но тот сердито вырвал ее.

— Энрико, что с вами? Почему вы не отвечаете? Скажите, нас всех выпускают?

В ответ послышалось только презрительное фырканье.

— Слушайте, — Артур с улыбкой снова взял надзирателя за руку, — не злитесь на меня — я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными?

— С какими это остальными? — буркнул Энрико, вдруг бросая рубашку, которую он свертывал. — Уж не с Боллой ли?

— С Боллой, разумеется, и со всеми другими. Энрико, что с вами?

— Не похоже, чтобы бедного парня скоро выпустили, раз его предал свой же товарищ! — И негодующий Энрико снова взялся за рубашку.

— Выдал товарищ? Какой ужас! — Артур широко раскрыл глаза.

Энрико повернулся к нему:

— А разве не вы это сделали?

— Я? Вы в своем уме, Энрико? Я?

— По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень приятно думать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идемте!

Энрико вышел в коридор, Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило:

— Болле сказали, что его выдал я! Ну конечно! А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору.

— Так это действительно неправда? — Энрико остановился около лестницы и окинул испытующим взглядом Артура, который только пожал плечами:

— Конечно, ложь!

— Вот как! Рад это слышать, мой мальчик, обязательно передам ему ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него... ну, словом, из ревности. Будто вы оба полюбили одну девушку.

— Это ложь! — произнес Артур быстрым, прерывистым шопотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. — Одну девушку!.. Ревность! Как они узнали это? Как они узнали?

— Подождите минутку, мой мальчик! — Энрико остановился в коридоре перед комнатой следователя и мягко сказал: — Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?

— Это ложь! — чуть не задохнувшись, крикнул Артур в третий раз.

Энрико пожал плечами и пошел вперед.

— Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаетесь на эту удочку. Сейчас в Пизе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличили ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это шпион.

Он отворил дверь в комнату следователя и, видя, что Артур замер на месте, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед.

— Добрый день, мистер Бертон, — сказал полковник, показывая в любезной улыбке все зубы. — Мне очень приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.

Артур подошел к нему.

— Я хочу знать, — сказал он глухим голосом, — кто меня выдал.

Полковник с улыбкой поднял брови:

— Не догадываетесь? Подумайте немного.

Артур покачал головой. Полковник воздел руки, выражая этим свое изумление.

— Не догадываетесь? Неужели? Да вы же, вы сами, мистер Бертон. Кто же еще мог знать о ваших любовных делах?

Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, и глаза Артура медленно поднялись к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди.

— Будьте добры расписаться в получении ваших документов, — кротко сказал полковник, — и я не буду задерживать вас. Вам, верно, хочется скорее добраться до дому, а я тоже очень занят — все вожусь с делом этого сумасброда Боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Боюсь, что его ждет суровый приговор. Всего хорошего!

Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. До массивных тюремных ворот он шел следом за Энрико, а потом, даже не попрощавшись с ним, один спустился к каналу, где его ждал перевозчик. В ту минуту, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, навстречу ему бросилась девушка в легком платье и соломенной шляпе.

— Артур! Я так счастлива, так счастлива!

Артур, весь дрожа, отнял свою руку.

— Джим! — проговорил он наконец не своим голосом. — Джим!

— Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур, отчего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Погодите!

Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о Джемме. Испуганная таким поведением, она догнала его и схватила за руку:

— Артур!

Он остановился и растерянно взглянул на нее. Джемма взяла его под руку, и они пошли рядом, не говоря ни слова.

— Слушайте, дорогой, — начала она нежно, — стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают...

— Из-за какого недоразумения? — спросил он тем же глухим голосом.

— Я говорю о письме Боллы.

При этом имени лицо Артура болезненно исказилось.

— Вы о нем ничего не знали? — продолжала она. — Но ведь вам, наверное, сказали об этом. Болла, должно быть, совсем сумасшедший, раз он мог вообразить такую нелепость.

— Какую нелепость?

— Так вы ничего не знаете? Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому, поверили только те, кто совершенно вас не знает. Потому-то я и пришла сюда: мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верят ни одному слову в этом письме.

— Джемма! Но это... это правда!

Она медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Ледяная волна молчания словно обрушилась на них, отделив от шума улицы.





— Да, — прошептал он наконец. — Пароходы... я говорил о них и назвал имя Боллы. Боже мой! Боже мой! Что мне делать?

И вдруг он пришел в себя, осознав, кто стоит перед ним, в смертельном ужасе глядя на него. Она, наверное, думает...

— Джемма, вы меня не поняли! — крикнул Артур, шагнув к ней.

Она отшатнулась от него, пронзительно крикнув:

— Не прикасайтесь ко мне!

Артур с неожиданной силой схватил ее за руку:

— Выслушайте, ради бога!.. Я не виноват... я...

— Оставьте меня! Пустите руку! Оставьте!

И она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке.

Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаяния лица Джеммы и ее руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся... Он осмотрелся и увидел, что стоит один.

## VII

Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у наружной двери большого дома на Дворцовой улице. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось?.. Лакей Джули, зевая, открыл дверь и многозначительно ухмыльнулся при виде его осунувшегося, словно окаменевшего лица. Ему показалось очень забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы, точно пьяный, беспутный бродяга.

Артур поднялся по лестнице. В первом этаже он столкнулся с Гиббонсом, который шел ему навстречу с видом надменным и неодобрительным. Артур пробормотал: «Добрый вечер», и хотел проскользнуть мимо. Но трудно было миновать Гиббонса, когда Гиббонс этого не хотел.

— Господ нет дома, сэр, — сказал он, окидывая критическим оком грязное платье и растрепанные волосы Артура. — Они ушли в гости и раньше двенадцати не возвратятся.

Артур посмотрел на часы. Было только девять. Да! Времени у него достаточно, больше чем достаточно...

— Миссис Бертон приказала спросить, не хотите ли вы ужинать, сэр. Она надеется увидеть вас, прежде чем вы ляжете спать, так как ей нужно сегодня же переговорить с вами.

— Благодарю вас, я не хочу ужинать. Передайте миссис Бертон, что я не буду ложиться.

Он вошел в свою комнату. В ней ничего не изменилось со дня его ареста. Портрет Монтанелли по-прежнему лежал на столе, распятие стояло в алькове. Артур на мгновение остановился на пороге, прислушиваясь. В доме было тихо, никто не сможет помешать ему. Он осторожно вошел в комнату и запер за собой дверь.

Итак, всему конец. Не о чем больше раздумывать, не из-за чего волноваться. Отделаться от ненужных, назойливых мыслей — и все. Но как это глупо, бесцельно!

Он не принял решения лишить себя жизни и даже не особенно думал об этом: такой конец казался очевидным и неизбежным. У него не было и ясного представления о том, какую смерть избрать себе. Все

сводилось к тому, чтобы сделать это быстро — и забыться. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Но это не имело значения: достаточно полотенца или простыни, разорванной на куски.

Он увидел над окном большой гвоздь. Вот и хорошо! Но выдержит ли он тяжесть его тела? Артур подставил к окну стул; гвоздь оказался недостаточно надежным. Он слез со стула, достал из ящика молоток, ударил им несколько раз по гвоздю и хотел уже стащить с постели простыню, как вдруг вспомнил, что не прочел молитвы. Ведь нужно помолиться перед смертью, так поступает каждый христианин. На отход души есть даже специальные молитвы.

Артур вошел в альков и опустился на колени перед распятием.

— Отче всемогущий и милостивый... — громко произнес он и остановился, не прибавив больше ни слова. Мир стал таким тусклым, что он не знал, за что молиться, от чего оберегать себя молитвами.

Артур поднялся, перекрестившись по старой привычке. Потом подошел к столу и увидел письмо Монтанелли, написанное карандашом:

Дорогой мой мальчик! Я в отчаянии, что не могу повидаться с тобой в день твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Вернусь поздно ночью. Приходи ко мне завтра пораньше. Очень спешу.

Л. М.

Артур со вздохом положил письмо. Падре будет тяжело перенести это.

А как смеялись и болтали люди на улицах!.. Ничто не изменилось с того дня, когда он был еще полон жизни. Ни одна из повседневных мелочей, окружавших его, не стала иной от того, что человеческая душа, живая человеческая душа искалечена насмерть. Все это было и раньше. Струилась вода фонтанов, воробьи чирикали под навесами крыш; так они чирикали вчера, так будут чирикать завтра. А он... он мертв.

Артур опустился на край кровати, скрестил руки на ее спинке и положил на них голову. Времени еще много — а у него так болит

голова, болит самый мозг... и все это так глупо, так бессмысленно...

У наружной двери резко прозвенел звонок. Артур вскочил, задыхаясь от ужаса, и поднес руки к горлу. Они вернулись, а он сидит тут и дремлет! Драгоценное время упущено, и теперь ему придется увидеть их лица, услышать жестокие слова, издевательства. Если бы под руками был нож!

Он с отчаянием оглядел комнату. В шифоньерке стояла рабочая корзинка его матери. Там должны быть ножницы. Он вскрыет вену. Нет, простыня и гвоздь вернее, если хватит времени.

Он сдернул с постели покрывало и с безумной поспешностью начал отрывать от него полосу. На лестнице раздались шаги. Нет, полоса слишком широка: не затянется — ведь нужно сделать петлю. Он спешил — шаги все приближались. Кровь ступала у него в висках, гулко била в уши. Скорей, скорей! О боже, только бы пять минут!

В дверь постучали. Обрывок покрывала выпал у него из рук, и он замер, затаил дыхание, прислушиваясь. Кто-то тронул снаружи ручку двери; послышался голос Джули:

— Артур!

Он встал, тяжело дыша.

— Артур, отвори дверь, пожалуйста, мы ждем.

Он схватил разорванное покрывало, бросил его в ящик и торопливо оправил постель.

— Артур! — Это был голос Джеймса. Он с нетерпением дергал ручку. — Ты спишь?

Артур окинул взглядом комнату, убедился, что все в порядке, и отпер дверь.

— Мне кажется, Артур, ты мог бы исполнить мою просьбу и дождаться нашего прихода, — сказала взбешенная Джули, влетая в комнату. — По-твоему, так и следует, чтобы мы полчаса стояли за дверью?

— Четыре минуты, моя дорогая, — кротко поправил жену Джеймс, входя следом за ее розовым атласным шлейфом. — Я полагаю, Артур, что было бы куда приличнее...

— Что вам нужно? — прервал его Артур.

Он стоял, держась за дверную ручку, и, словно затравленный зверь, переводил взгляд с брата на Джули. Но Джеймс был слишком туп, а Джули слишком разгневана, чтобы заметить этот взгляд.

Мистер Бертон подставил жене стул и сел сам, аккуратно подтянув на коленях новые брюки.

— Мы с Джули, — начал он, — считаем своим долгом серьезно поговорить с тобой...

— Сейчас я не могу выслушать вас. Мне... мне нехорошо. У меня болит голова. Вам придется подождать.

Артур выговорил это странным, глухим голосом, то и дело запинаясь.

Джеймс с удивлением взглянул на него.

— Что с тобой? — спросил он с тревогой, вспомнив, что Артур пришел из очага заразы. — Надеюсь, ты не болен? По-моему, у тебя лихорадка.

— Пустяки! — резко оборвала его Джули. — Обычное комедиантство. Просто ему стыдно смотреть нам в глаза. Поди сюда, Артур, и сядь.

Артур медленно прошел по комнате и опустился на край кровати.

— Ну? — произнес он устало.

Мистер Бертон откашлялся, пригладил и без того гладкую бороду и начал заранее подготовленную речь:

— Я считаю своим долгом... своим тяжелым долгом поговорить с тобой о твоём весьма странном поведении и о твоих связях с... нарушителями закона, с бунтовщиками, с людьми сомнительной репутации. Я убежден, что тобой руководило скорее легкомыслие, чем испорченность.

Он остановился.

— Ну? — снова сказал Артур.

— Так вот, я не хочу быть чрезмерно строгим, — продолжал Джеймс, невольно смягчаясь при виде той усталой безнадежности, которая сквозила в каждом жесте Артура. — Я готов допустить, что тебя совратили дурные товарищи, и охотно принимаю во внимание твою молодость, неопытность и... и легкомыслие и впечатлительность, которые, боюсь, ты унаследовал от матери.

Артур медленно перевел глаза на портрет матери, но продолжал молчать.

— Ты, конечно, поймешь, — опять начал Джеймс, — что я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшееся таким уважением.

— Ну? — повторил еще раз Артур.

— Как! — крикнула Джули, с треском складывая свой веер и бросая его себе на колени. — Тебе нечего больше сказать, кроме этого «ну»?!

— Вы поступите так, как сочтете нужным, — медленно, не двигаясь, ответил Артур. — Мне все равно.

— Тебе все равно? — повторил Джеймс, пораженный этим ответом, а его жена со смехом поднялась со стула.

— Так тебе все равно! Ну, Джеймс, я надеюсь, теперь ты понимаешь, что благодарности нам ждать не приходится. Я предчувствовала, к чему приведет снисходительность к католическим авантюристам и к их...

— Тише, тише! Не надо об этом, милая.

— Глупости, Джеймс! Мы слишком много сентиментальничали! Какой-то незаконнорожденный ребенок, втершийся в нашу семью! Пусть знает, кто была его мать! Почему мы должны заботиться, о сыне католического попа? Вот — читай!

Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артуру. Он развернул листок и узнал почерк матери. Как показывала дата, письмо было написано за четыре месяца до его рождения. Это было признание, обращенное к мужу. Внизу стояли две подписи.

Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошел до конца страницы, где после нетвердых букв, написанных рукой его матери, стояла знакомая уверенная подпись: «Лоренцо Монтанелли». Несколько минут он тупо смотрел на нее. Потом, не сказав ни слова, снова свернул листок и положил его на стол.

Джеймс поднялся и взял жену за руку:

— Ну, Джули, довольно, иди вниз. Уже поздно, а мне нужно переговорить с Артуром о делах, для тебя неинтересных.

Джули взглянула на мужа, потом на Артура, который молчал, опустив глаза.

— Он точно потерял рассудок, — пробормотала она.

Когда Джули, подобрав шлейф, вышла из комнаты, Джеймс запер дверь и вернулся к столу.

Артур сидел, как и раньше, не двигаясь и не говоря ни слова.

— Артур, — начал Джеймс более мягким голосом, так как Джули уже не могла слышать его, — очень жаль, что все так вышло. Ты мог бы и не знать этого. Но ничего не поделаешь. Мне приятно видеть, что ты держишься с таким самообладанием. Джули немного разволновалась... Женщины вообще... Ну, оставим это. Я не хочу быть чрезмерно строгим...

Он замолчал, проверяя, какое впечатление произвела на Артура его мягкость, но Артур оставался по-прежнему неподвижным.

— Конечно, дорогой мой, это весьма печальная история, — продолжал Джеймс после паузы, — и самое лучшее — не говорить о ней. Мой отец был настолько великодушен, что не развелся с твоей матерью, когда она призналась ему в своем падении. Он только потребовал, чтобы человек, совративший ее, сейчас же оставил Италию. Как ты знаешь, он отправился миссионером в Китай. Лично я был против того, чтобы ты встречался с ним, когда он вернулся. Но мой отец разрешил ему заниматься с тобой, поставив единственным условием, чтобы он не пытался видеться с твоей матерью. Надо отдать им справедливость — они до конца оставались верны этому условию. Все это очень прискорбно, но...

Артур поднял голову. Его лицо было безжизненно. Это была восковая маска.

— Не кажется ли в-вам, — проговорил он тихо, как-то странно заикаясь, — что все это у-ди-ви-тельно забавно?

— Забавно? — Джеймс отодвинул стул от стола и, даже забыв рассердиться, с огорошенным видом уставился на Артура. — Забавно? Артур! Ты сошел с ума!

Артур вдруг закинул голову и разразился неистовым хохотом.

— Артур! — воскликнул судовладелец, с достоинством поднимаясь со стула. — Твое легкомыслие меня изумляет.

Вместо ответа послышался новый взрыв хохота, такого неистового, что даже Джеймс начал сомневаться, не было ли тут чего-нибудь большего, чем простое легкомыслие.

— Точно баба-истеричка, — пробормотал он и, презрительно передернув плечами, нетерпеливо зашагал по комнате взад и вперед. — Право, Артур, ты хуже Джули. Перестань смеяться! Не могу же я сидеть здесь целую ночь!

С таким же успехом он мог бы обратиться к распятию и попросить его сойти с пьедестала. Артур был глух к увещаниям. Он смеялся, смеялся, смеялся без конца.

— Это дико, — проговорил Джеймс остановившись. — Ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь рассуждать здраво. Я не стану говорить с тобой о делах, если так будет продолжаться. Зайди ко мне утром после завтрака. А сейчас ложись лучше спать. Спокойной ночи.

Джеймс вышел, хлопнув дверью.

— Теперь предстоит истерика внизу, — бормотал он, спускаясь по лестнице. — И, полагаю, со слезами.

\* \* \*

Безумный смех замер на губах Артура. Он схватил со стола молоток и кинулся к распятию.

После первого же удара он пришел в себя. Перед ним стоял пустой пьедестал, молоток был еще у него в руках. На полу валялись обломки разбитого распятия. Артур швырнул молоток в сторону.

— Только и всего! — сказал он и отвернулся. — Какой я идиот!

Задыхаясь, он опустился на стул и сжал руками виски. Потом встал, подошел к умывальнику и вылил себе на голову кувшин холодной воды. Успокоенный, он вернулся на прежнее место и задумался.

Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния! Приготовил веревку, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут! Довольно, с этим покончено! Теперь он станет умнее. Нужно только стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь. В доках немало торговых судов; нетрудно будет спрятаться на одном из них и уехать куда глаза глядят — в Канаду, в Австралию, в Южную Америку, не все ли равно! Не важно, куда уехать, лишь бы подальше отсюда. Он приглядится к тамошней жизни — не подойдет она ему, устроится в другом месте.

Он вынул кошелек. Только тридцать три паоло<sup>[27]</sup>. Но у него есть еще дорогие часы. С ними можно извернуться. И вообще это не важно:



лишь бы протянуть первое время. Но эти люди начнут искать его, станут расспрашивать о нем в доках. Нет, надо навести их на ложный след. Пусть думают, что он умер. И тогда он свободен, совершенно свободен. Артур тихо засмеялся, представив себе, как Бертоны будут разыскивать его тело. Какая комедия!

Он взял листок бумаги и написал первое, что пришло в голову:

Я верил в вас, как в бога. Бог — это идол, вылепленный из глины, который можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Он сложил листок, адресовал его Монтанелли и, взяв другой, написал:

Ищите мое тело в Дарсене.

Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он посмотрел на него, усмехнулся и пожал плечами. Она ведь тоже лгала ему!

Тихо ступая, он прошел по коридору, отодвинул засов у двери и очутился на широкой мраморной лестнице, отзывающейся эхом на каждый шорох. Она зияла у него под ногами, словно черная яма.

Артур перешел двор, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Джиана Баттисту, который спал в нижнем этаже. В деревянном сарае, стоявшем в конце двора, было решетчатое окошко. Оно смотрело на канал и приходилось над землей на уровне, не превышавшем четырех футов. Артур вспомнил, что ржавая решетка с одной стороны поломана. Легким ударом можно будет расширить отверстие настолько, чтобы пролезть в него.

Однако решетка оказалась прочной. Он исцарапал себе руки и порвал рукав. Но это пустяки. Он оглядел улицу; на ней никого не было. Черный безмолвный канал уродливой щелью тянулся между отвесными скользкими стенами. Беспросветной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нем будет столько пошлости и грязи, сколько остается позади. Не о чем пожалеть, не на что оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана, — стоячее болото, такое мелкое, что в нем нельзя даже утонуть.

Артур шел по набережной, а потом свернул на маленькую площадь у дворца Медичи<sup>[28]</sup>. Здесь Джемма подбежала к нему, с такой живостью протянув ему руки. Вот мокрые каменные ступеньки, что ведут к воде. А вот и крепость хмурится по ту сторону грязного канала. Он и не подозревал до сих пор, что она такая приземистая, нескладная.

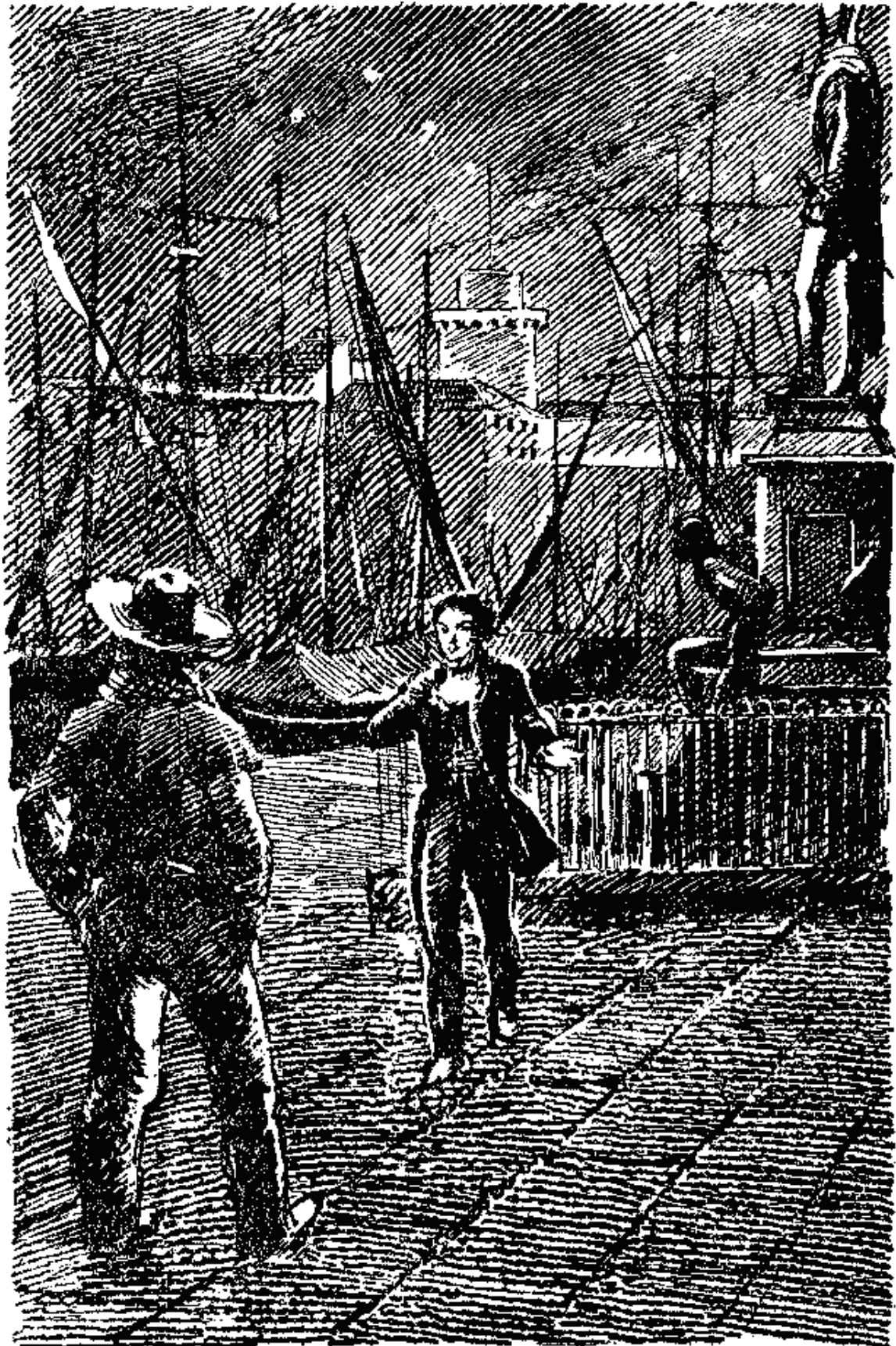
По узким улицам он добрался до Дарсены, снял шляпу и бросил ее в воду. Шляпу, конечно, найдут, когда будут искать труп. Он пошел по берегу, с трудом соображая, что же делать дальше. Нужно пробраться на какое-нибудь судно. Сделать это нелегко. Единственное, что можно придумать, — это выйти к громадному старому молу Медичи. В дальнем конце его есть таверна. Может быть, посчастливится встретить там какого-нибудь матроса и подкупить его.

Ворота доков были заперты. Как же быть, как миновать таможенных чиновников? С такими деньгами нечего и думать дать взятку за пропуск ночью, да еще без паспорта. К тому же его могут узнать.

Когда он проходил мимо бронзового памятника Четырех Мавров<sup>[29]</sup>, из старого дома на противоположной стороне вышел какой-то человек. Он приближался к мосту. Артур проскользнул в густую тень памятника и, прижавшись к нему в темноте, осторожно выглянул из-за угла пьедестала.

Была весенняя ночь, теплая и звездная. Вода плескалась о каменные стены дока и с тихим, похожим на смех журчаньем подбегала к ступенькам. Где-то вблизи, медленно качаясь, скрипела цепь. Громадный подъемный кран уныло торчал в темноте. Под блещущим звездами небом, подернутым жемчужными облаками, чернели силуэты четырех закованных рабов, тщетно, взывающих к жестокой судьбе.

Человек брел по берегу нетвердыми шагами, распевая во все горло уличную английскую песню. Это был, очевидно, матрос, возвращавшийся из таверны после попойки. Кругом никого не было. Когда он подошел поближе, Артур вышел на середину дороги. Матрос, выругавшись, оборвал свою песню и остановился.



— Мне нужно с вами поговорить, — сказал Артур по-итальянски.  
— Вы понимаете меня?

Тот покачал головой:

— Бесплезно говорить со мной на этом тарабарском наречии. — И затем, перейдя вдруг на ломаный французский язык, сердито спросил:  
— Что вам от меня нужно? Что вы стали поперек дороги?

— Отойдите на минутку со света. Мне нужно с вами поговорить.

— Еще чего! Отойти со света! При вас нож?

— Нет, нет, что вы! Разве вы не видите, что мне нужна ваша помощь? Я вам заплачу.

— А? Что? Разоделся-то каким франтом! — снова перешел на английский матрос и, отойдя в тень, прислонился к ограде памятника.

— Ну? — заговорил он опять на своем ужасном французском языке. — Что же вам нужно?

— Мне нужно уехать отсюда.

— Вот оно что! Зайцем? Хотите, чтобы я вас спрятал? Натворили каких-нибудь дел? Зарезали кого-нибудь? Иностранцы все такие. Куда же вы собираетесь удирать? Уж, верно, не в полицейский участок?

Он засмеялся пьяным смехом и подмигнул Артуру.

— С какого вы судна?

— С «Карлотты». Ходит из Ливорно в Буэнос-Айрес. В одну сторону перевозит масло, в другую — кожи. Вот она, — и матрос ткнул пальцем в сторону мола. — Отвратительная старая посудина.

— Буэнос-Айрес! Спрячьте меня где-нибудь на вашем судне.

— А сколько дадите?

— Не очень много. У меня всего несколько паоло.

— Нет. Меньше пятидесяти не возьму. И то дешево для такого франта, как вы.

— Какой там франт! Если вам приглянулось мое платье, можете поменяться со мной. Не могу же я вам дать больше того, что у меня есть.

— У вас есть часы? Давайте их.

Артур вынул дамские золотые часы с эмалью тонкой работы и с инициалами «Г. Б.» на задней крышке. Это были часы его матери. Но какое это имеет значение теперь?

— А! воскликнул матрос, быстро оглядывая часы. — Краденые, конечно? Дайте посмотреть!

Артур отдернул руку.

— Нет, — сказал он. — Я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне, не раньше.

— Оказывается, вы не дурак! И все-таки держу пари — первый раз попали в беду. Ведь верно?

— Это мое дело. Смотрите: дозор!

Они присели за памятником и переждали, пока пройдет дозорный. Затем матрос поднялся, велел Артуру следовать за собой и пошел вперед, глупо посмеиваясь. Артур молча шагал сзади.

Матрос вывел его снова на маленькую, неправильной формы площадь у дворца Медичи, остановился в темном углу и пробубнил, полагая, очевидно, что это и есть осторожный шопот:

— Подождите тут, а то солдаты увидят вас, если вы пойдете дальше.

— Что вы хотите делать?

— Раздобуду кое-какое платье. Не брать же вас на борт с окровавленным рукавом.

Артур взглянул на рукав, разорванный о решетку окна. В него впиталась кровь с поцарапанной руки. Очевидно, этот человек считает его убийцей. Ну что ж! Какое имеет значение, что о нем думают!

Матрос вскоре вернулся. Вид у него был торжествующий, он нес подмышкой узел.

— Смените, — прошептал он, — только поскорее. Мне надо возвращаться на корабль.

Артур стал переодеваться, с дрожью отвращения касаясь поношенного платья. По счастью, оно оказалось более или менее чистым. Когда он вышел на свет в новом одеянии, матрос посмотрел на него и с пьяной важностью кивнул головой в знак одобрения.

— Сойдет, — сказал он. — Пошли! Да не шумите.

Захватив скинутое платье, Артур пошел следом за матросом через лабиринт извилистых каналов и темных, узких переулков тех средневековых трущоб, которые жители Ливорно называют «Новой Венецией». Среди убогих лачуг и грязных дворов кое-где одиноко высились мрачные старые дворцы, тщетно пытаясь сохранить

древнюю свою величавость. В некоторых переулках были притоны воров, убийц и контрабандистов; в других ютилась беднота.

Матрос остановился у маленького мостика и, осмотревшись по сторонам, спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась старая, грязная лодка. Он грубо приказал Артуру прыгнуть в нее и лечь на дно, а сам сел на весла и начал грести к выходу в гавань. Артур лежал, не шевелясь, на мокрых, скользких досках, укрывшись одеждой, которую набросил на него матрос, и смотрел на знакомые дома и улицы.

Лодка прошла под мостом и очутилась в той части канала, над которой стояла крепость. Массивные стены, широкие в основании и переходящие вверху в узкие мрачные башни, вздымались над водой. Какими могучими, какими грозными казались они ему несколько часов назад! А теперь... Он тихо засмеялся, лежа на дне лодки.

— Молчите, — буркнул матрос, — не поднимайтесь. Мы у таможни.

Артур укрылся с головой. Лодка остановилась перед скованными цепью мачтами, которые лежали поперек канала, загораживая узкий проход между таможней и крепостью. Из таможни вышел сонный чиновник с фонарем и, зевая, нагнулся над водой.

— Паспорт, пожалуйста.

Матрос сунул ему свои документы. Артур, стараясь не дышать под одеждой, прислушивался к их разговору.

— Нечего сказать, самое время возвращаться на судно, — ворчал чиновник. — С кутежа, наверно? Что у вас в лодке?

— Старое платье. Купил по дешевке.

С этими словами он подал для осмотра жилет. Чиновник опустил фонарь и нагнулся, напрягая зрение.

— Ладно. Можете ехать.

Он поднял перекладину, и лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на темной воде. Выждав немного, Артур сел и сбросил укрывавшее его платье.

— Вот он, мой корабль, — шопотом проговорил матрос. — Идите следом за мной и главное — молчите.

Он вскарабкался на палубу громоздкого темного чудовища, поругивая тихонько «неуклюжую сухопутную публику», хотя Артур, всегда отличавшийся ловкостью, меньше чем кто-либо заслуживал

такой упрек. Поднявшись на корабль, они осторожно пробрались меж темных снастей и блоков и наконец подошли к трюму. Матрос тихонько приподнял люк.

— Полезайте вниз, — прошептал он. — Я сейчас вернусь.

В трюме было не только сыро и темно, но и невыносимо душно. Артур невольно попятился, задыхаясь от запаха сырой кожи и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер, и, пожав плечами, он спустился вниз по ступенькам. По-видимому, жизнь повсюду одинакова: грязь, мерзость, постыдные тайны, темные углы. Но жизнь есть жизнь — надо брать от нее все, что можно.

Через несколько минут матрос вернулся, неся что-то в руках:

— Теперь давайте деньги и часы. Скорее!

Артур воспользовался темнотой и оставил себе несколько монет.

— Принесите мне чего-нибудь поесть, — сказал он. — Я очень голоден.

— Принес. Вот, держите.

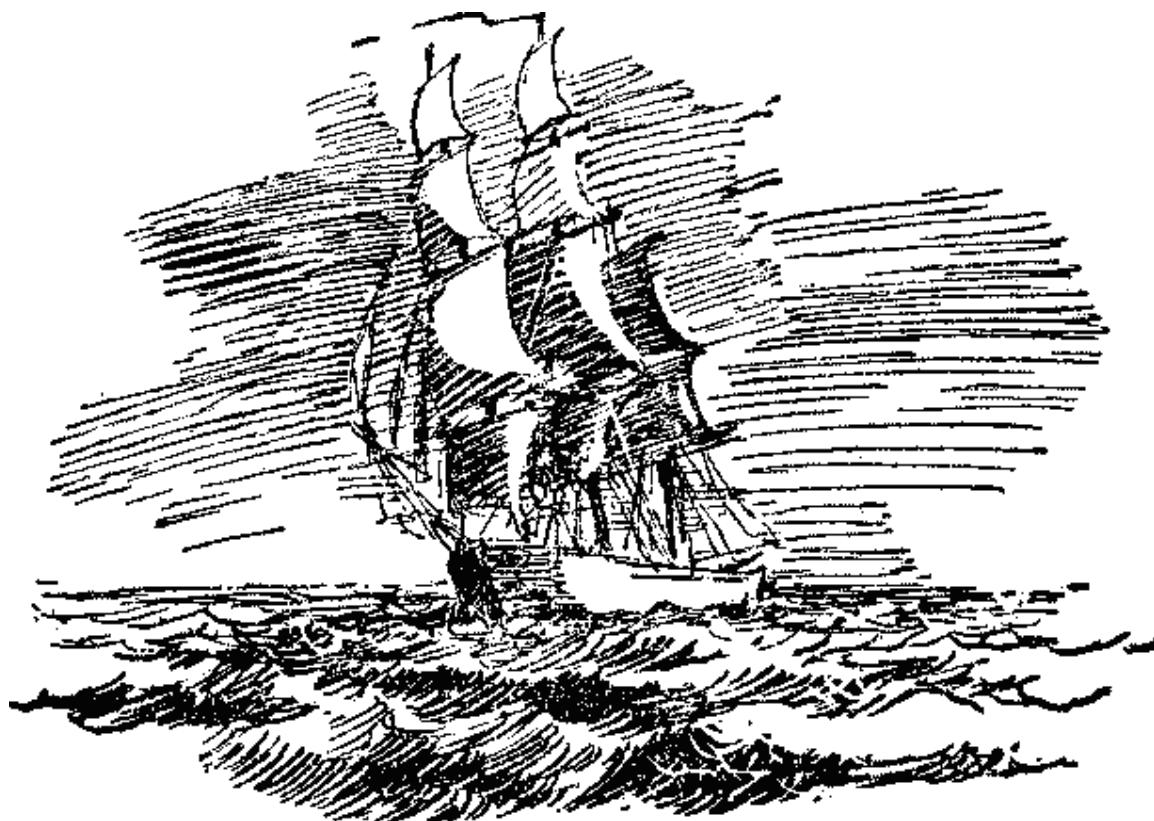
Матрос передал ему кувшин, несколько твердых, как камень, сухарей и кусок солонины.

— Теперь вот что. Завтра поутру придут для осмотра таможенные чиновники. Спрячьтесь в пустой бочке. Лежите смирно, как мышь, пока мы не выйдем в открытое море. Я скажу, когда можно будет вылезть. Да смотрите, старайтесь не попадаться на глаза капитану. Ну, все! Питье не прольете? Спокойной ночи.

Люк закрылся. Артур осторожно поставил кувшин с драгоценным «питьем» и, присев у пустой бочки, принялся за солонину и сухари. Потом свернулся на грязном полу и в первый раз с младенческих лет заснул не помолвившись. В темноте вокруг него бегали крысы. Но ни их неугомонный писк, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла, ни ожидание неминуемой морской болезни — ничто не могло потревожить сон Артура. Все это не беспокоило его больше, как не беспокоили его теперь и разбитые, развенчанные идолы, которым он еще вчера поклонялся.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Тринадцать лет спустя





# I

В один из июльских вечеров 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабрици, собралось несколько человек, чтобы обсудить план предстоящей политической работы<sup>[30]</sup>.

Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини и не мирились на меньшем, чем демократическая республика и объединенная Италия. Другие были сторонниками конституционной монархии и либералами разных оттенков. Но все они сходились в одном — в недовольстве тосканской цензурой. Известный профессор Фабрици созвал собрание в надежде, что, может быть, хоть этот вопрос представители различных партий смогут обсудить без особых препирательств.

Прошло только две недели с тех пор, как папа Пий IX, взойдя на престол, даровал столь нашумевшую амнистию политическим преступникам в Папской области,<sup>[31]</sup> но волна либерального восторга, вызванная этим событием, уже катилась по всей Италии. В Тоскане папская амнистия оказала воздействие даже на правительство. Профессор Фабрици и еще кое-кто из лидеров политических партий во Флоренции сочли момент наиболее благоприятным для того, чтобы добиться проведения реформы законов о печати.

— Конечно, — заметил драматург Лега, когда впервые был поднят этот вопрос, — невозможно приступить к изданию газеты до изменения нынешних законов о печати. Надо задержать первый номер. Но, может быть, нам удастся провести через цензуру несколько памфлетов.<sup>[32]</sup> Чем раньше мы это сделаем, тем скорее добьемся изменения закона.

Сидя в библиотеке Фабрици, он излагал свою точку зрения относительно той позиции, какую должны были, по его мнению, занять в данный момент писатели-либералы.

— Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент, — заговорил тягучим голосом один из присутствующих, седоволосый адвокат. — В другой раз уже не будет таких благоприятных условий для проведения серьезных реформ. Но едва ли памфлеты окажут благотворное действие. Они только раздражат и напугают правительство и уж ни в коем случае не расположат его в нашу пользу.

А ведь именно этого мы и добиваемся. Если власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны.

— В таком случае, что же вы предлагаете?

— Петицию.

— Великому герцогу?<sup>[33]</sup>

— Да, петицию о расширении свободы печати.

Сидевший у окна брюнет с живым, умным лицом со смехом обернулся.

— Многого вы добьетесь петициями! — сказал он. — Мне казалось, что исход дела Ренци<sup>[34]</sup> излечил вас от подобных иллюзий.

— Синьор! Я не меньше вас огорчен тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци. Мне не хочется обижать присутствующих, но все-таки я не могу не отметить, что мы потерпели неудачу в этом деле главным образом вследствие нетерпеливости и горячности кое-кого из нас. Я, конечно, не решился бы...

— Нерешительность — отличительная черта всех пьемонтцев, — резко прервал его брюнет. — Не знаю, где вы обнаружили нетерпеливость и горячность. Уж не в тех ли осторожных петициях, которые мы посылали одну за другой? Может быть, это называется горячностью в Тоскане и Пьемонте, но никак не в Неаполе.

— К счастью, — заметил пьемонтец, — неаполитанская горячность присуща только Неаполю.

— Перестаньте, господа! — вмешался профессор. — Хороши по-своему и неаполитанские обычаи и пьемонтские. Но сейчас мы в Тоскане, а тосканский обычай велит не отвлекаться от сути дела. Грассини голосует за петицию, Галли — против. А что вы скажете, доктор Риккардо?

— Я не вижу ничего плохого в петиции, и если Грассини составит ее, я подпишусь с большим удовольствием. Но мне все-таки думается, что одними петициями многого не достигнешь. Почему бы нам не прибегнуть и к петициям и к памфлетам?

— Да просто потому, что памфлеты вооружат правительство против нас и оно не обратит внимания на наши петиции, — сказал Грассини.

— Оно и без того не обратит на них внимания. — Неаполитанец встал и подошел к столу. — Не на правильном пути вы, господа!

Уговаривать правительство бесполезно. Нужно поднять народ.

— Это легче сказать, чем сделать. С чего вы начнете?

— Смешно задавать Галли такие вопросы. Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по голове.

— Вовсе нет, — спокойно сказал Галли. — Вы думаете, раз уж перед вами южанин, значит у него не найдется других аргументов, кроме ножа?

— Что же вы предлагаете? Тише! Господа, внимание! Галли хочет внести предложение.

Все те, кто до сих пор спорил в разных углах группами по два, по три человека, собрались вокруг стола послушать Галли.

— Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Я считаю, что во всех этих ликованиях по поводу нового папы кроется опасность. Он взял новый курс политики, даровал амнистию, и многие выводят отсюда заключение, что нам всем — всем без исключения, всей Италии — следует броситься в объятия святого отца и предоставить ему вести нас в землю обетованную. Лично я восхищаюсь папой не меньше других. Амнистия была блестящим актом.

— Его святейшество, конечно, сочтет себя польщенным... — презрительно начал Грассини.

— Перестаньте, Грассини. Дайте ему высказаться! — прервал его, в свою очередь, Риккардо. — Удивительная вещь! Вы с Галли никак не можете удержаться от пререканий. Как кошка с собакой! Продолжайте, Галли!

— Я вот что хотел сказать, — снова начал неаполитанец. — Святой отец поступает, несомненно, с наилучшими намерениями. Другой вопрос — насколько широко удастся ему провести реформы. Теперь все идет гладко. Реакционеры по всей Италии месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадет волна ликования, поднятая амнистией. Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Мое личное мнение таково, что в середине зимы иезуиты,<sup>[35]</sup> грегорианцы,<sup>[36]</sup> санфедисты<sup>[37]</sup> и вся их клика начнут строить новые козни и интриги и отправят на тот свет всех, кого нельзя подкупить.

— Это очень похоже на правду.

— Так вот, будем ли мы ждать, смиренно посылая одну петицию за другой, пока Ламбручини<sup>[38]</sup> и его свора не убедят великого герцога отдать нас во власть иезуитов, призвав еще австрийских гусар наблюдать за порядком на улицах, или мы предупредим их и воспользуемся временным замешательством, чтобы первыми нанести удар?

— Скажите нам прежде всего, о каком ударе вы говорите.

— Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов.

— Да ведь фактически это будет объявлением войны.

— Да. Мы будем разоблачать их интриги, раскрывать их тайны и обратимся к народу с призывом объединиться на борьбу с иезуитами.

— Но ведь здесь некого изобличать!

— Некого? Подождите месяца три, и вы увидите, сколько их здесь будет. Тогда от них не отделаешься.

— Да. Но ведь вы знаете, для того чтобы восстановить городское население против иезуитов, придется говорить открыто. А раз так, каким образом вы избегнете цензуры?

— Я не буду ее избегать. Я просто перестану с ней считаться.

— Значит, вы будете выпускать памфлеты анонимно? Все это очень хорошо, но мы уже имели дело с подпольными типографиями и знаем, как...

— Нет. Я предлагаю печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. Пусть преследуют, если у них хватит смелости.

— Совершенно безумный проект! — воскликнул Грассини. — Это значит — из молодечества класть голову в львиную пасть.

— Ну, вам бояться нечего, — отрезал Галли. — Мы не просим вас сидеть в тюрьме за наши грехи.

— Воздержитесь от резкостей, Галли! — сказал Риккардо. — Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если только это поможет нашему делу. Но подвергать себя опасности по пустякам — чистое ребячество. Я лично хотел бы внести поправку к высказанному предложению.

— Какую?

— Мне кажется, можно выработать такой способ борьбы с иезуитами, который избавит нас от столкновений с цензурой.

— Не понимаю, как вы это устроите.

— Надо облечь наши высказывания в такую форму, так их завуалировать, чтобы...

— Не понял цензор? Но неужели вы рассчитываете, что какой-нибудь ремесленник или рабочий при его невежестве докопается до истинного смысла ваших писаний? Это ни с чем не сообразно.

— Мартини, что вы скажете? — спросил профессор, оборачиваясь к сидевшему возле него широкоплечему человеку с большой темной бородой.

— Я воздержусь высказывать свое мнение. Надо проделать ряд опытов, тогда будет видно.

— А вы, Саккони?

— Мне бы хотелось услышать, что скажет синьора Болла. Ее соображения всегда так ценны.

Все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на диване, опершись подбородком на руку, и молча вслушивалась в прения. У нее были задумчивые черные глаза, но сейчас в них мелькнул насмешливый огонек.

— Боюсь, что мы с вами разойдемся во мнениях, — сказала она.

— Обычная история, — вставил Риккардо, — но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы.

— Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся одним оружием, надо прибегнуть к другому. Но бросить им вызов — недостаточно, уклончивая тактика затруднительна. Ну, а петиции — просто детские игрушки.

— Надеюсь, синьора, — с чрезвычайно серьезным видом сказал Грассини, — вы не предложите нам таких методов, как убийство?

Мартини дернул себя за ус, а Галли, не стесняясь, рассмеялся. Даже серьезная молодая женщина не могла удержаться от улыбки.

— Поверьте, — сказала она, — если бы я была настолько кровожадна, то, во всяком случае, у меня хватило бы здравого смысла молчать об этом — я не ребенок. Самое смертоносное оружие, какое я знаю, — это смех. Если нам удастся жестоко высмеять иезуитов, заставить народ хохотать над ними и их притязаниями — мы одержим победу без кровопролития.

— Думаю, что вы правы, — сказал Фабрицци. — Но не понимаю, как вы это осуществите.

— Почему вам кажется, что нам не удастся это осуществить? — спросил Мартини. — Сатира скорее пройдет через цензуру, чем серьезная статья. Если придется писать иносказательно, то среднему читателю легче будет раскусить двойной смысл безобидной на первый взгляд шутки, чем содержание научного или экономического очерка.

— Итак, синьора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или сатирическую газету? Могу смело сказать, последнее цензура никогда не пропустит.

— Я имею в виду нечто иное. По-моему, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешевой цене или даже распространять бесплатно небольшие сатирические листки, в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, мы могли бы выпускать эти листки с иллюстрациями.

— Великолепная идея, если только она выполнима. Раз уж браться за такое дело, надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять?

— Вы отлично знаете, — прибавил Лега, — что большинство из нас — серьезные писатели. Как я ни уважаю всех присутствующих, но боюсь, что в качестве юмористов мы будем напоминать слона, танцующего тарантеллу.<sup>[39]</sup>

— Я отнюдь не говорю, что мы должны взяться за работу, которая нам не по плечу. Надо найти талантливого сатирика — а такой, вероятно, есть в Италии — и изыскать необходимые средства. Само собой разумеется, что мы должны знать этого человека и быть уверены, что он будет работать в нужном нам направлении.

— Но где его достать? Я могу пересчитать по пальцам всех более или менее талантливых сатириков, но их не привлечешь. Джусти<sup>[40]</sup> не согласится — он и так слишком занят. Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте.<sup>[41]</sup>

— И кроме того, — сказал Грассини, — на тосканский народ можно воздействовать более почтенными средствами. Мы обнаружим по меньшей мере отсутствие политического такта, если будем трактовать серьезный вопрос о гражданской и религиозной свободе в шуточной форме. Флоренция не город фабрик и наживы, как Лондон, и не притон для сибаритов,<sup>[42]</sup> как Париж. Это город с великим прошлым...

— Таковы были и Афины, — с улыбкой перебила его синьора Болла. — Но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы пробудить их.

Риккардо ударил рукой по столу:

— Овод! Как это мы не вспомнили о нем? Вот человек, который нам нужен!

— Кто это?

— Овод — Феличе Риварес. Не помните? Он из группы Муратори, которая пришла сюда с гор года три назад. [\[43\]](#)

— Вы знаете эту группу? Впрочем, вспоминаю! Вы были вместе с ее участниками, когда они ехали в Париж.

— Да, я проводил Ривареса до Ливорно и оттуда отправил его в Марсель. Ему не хотелось оставаться в Тоскане. Он заявил, что после неудачного восстания остается только смеяться и что поэтому лучше уехать в Париж. Он, очевидно, согласился с синьором Грассини, что Тоскана — неподходящее место для смеха. Но если мы его пригласим, он вернется, раз теперь есть возможность действовать в Италии. Я в этом почти уверен.

— Как вы его называли?

— Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, мне известно, что он жил в Бразилии. Я, пожалуй, не встречал более остроумного человека. В то время в Ливорно нам было, конечно, не до веселья, но мы не могли удержаться от смеха, когда Риварес заходил в комнату, — сплошной фейерверк остроумия! На лице у него, помнится, большой шрам от сабельного удара. Станный он человек... Но я уверен, что его шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния.

— Не он ли пишет политические фельетоны во французских газетах под псевдонимом Le Taon? [\[44\]](#)

— Да. По большей части коротенькие статейки и юмористические фельетоны. Апеннинские контрабандисты прозвали Ривареса Оводом за его злой язык, и с тех пор он стал подписываться этим именем.

— Мне кое-что известно об этом субъекте, — как всегда солидно и неторопливо, вмешался в разговор Грассини, — и не могу сказать, чтобы то, что я о нем слышал, располагало в его пользу. Овод, несомненно, наделен эффектным умом, но человек он поверхностный, и мне кажется, таланты его переоценили. Очень вероятно, что у него



нет недостатка в мужестве. Но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это человек, жизнь которого изобиловала... сомнительными приключениями, человек неизвестного происхождения. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в дебрях Южной Америки в ужасном состоянии, почти одичалым. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить, чем было вызвано такое падение. А что касается событий в Апеннинах, то в этом неудачном восстании принимал участие всякий сброд — это ни для кого не секрет. Все знают, что казненные в Болонье были самые настоящие преступники. Да и нравственный облик многих из скрывшихся не поддается описанию. Правда, некоторые из участников — люди весьма достойные.

— Некоторые из них находятся в тесной дружбе со многими из присутствующих в этой комнате, — оборвал Грассини Риккардо, и в его голосе прозвучали негодующие нотки. — Щепетильность и строгость — весьма похвальные качества, но не следует забывать, Грассини, что эти «настоящие преступники» пожертвовали жизнью ради своих убеждений, а это побольше, чем дали мы с вами.

— В следующий раз, — добавил Галли, — когда кто-нибудь будет передавать вам старые парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре он ошибается. Я лично знаком с помощником Дюпре, Мартелем, и слышал от него всю историю. Верно, что они нашли Ривареса в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику<sup>[45]</sup>, был взят в плен и бежал. Потом, переодетый, скитался по стране, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Версия, что экспедиция подобрала его из милости, — чистейший вымысел. Их переводчик заболел и должен был вернуться обратно, а сами французы не знали местных наречий. Ривареса взяли в переводчики, и он провел с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. По словам Мартеля, им никогда не удалось бы довести до конца свою задачу, если бы не Риварес.

— Кто бы он ни был, — вмешался Фабрицци, — но должно же быть что-то выдающееся в человеке, который сумел обворожить таких опытных людей, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, синьора?

— Я о нем ровно ничего не знаю. Я была в Англии, когда эти беглецы проезжали Тоскану. Но если о Риваресе отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с



ним, а также товарищи, участвовавшие в восстании, то этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на бульварные сплетни.

— О его товарищах и говорить нечего, — сказал Риккардо: — Ривареса обожали поголовно все — от Муратори до самых диких горцев. Кроме того, он личный друг Орсини.<sup>[46]</sup> Правда, в Париже о нем рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком.

— Я не совсем уверен, но, кажется, я видел его как-то, когда эти политические эмигранты были здесь, — сказал Лега. — Он ведь не то горбат, не то хромает.

Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал их перелистывать.

— У меня есть где-то полицейское описание его примет, — сказал он. — Вы помните, когда им удалось бежать и скрыться в горах, повсюду были разосланы их приметы, а кардинал... как же зовут этого негодяя?... да, кардинал Спинола<sup>[47]</sup> даже предлагал награду за их головы. В связи с этим рассказывают одну очень интересную историю. Риварес надел старый солдатский мундир и бродил по стране под видом раненого карабинера, отыскивающего свою часть. Во время этих странствований он наткнулся на отряд, посланный Спинолой на его же розыски, и целый день ехал с солдатами в одной повозке и рассказывал душераздирающие истории о том, как бунтовщики взяли его в плен, затащили в свой притон в горах и подвергли ужасным пыткам. Они показали ему бумагу с описанием его примет, и он наговорил им всякого вздору о «дьяволе», которого прозвали Оводом. Потом ночью, когда все улеглись спать, Риварес вылил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и патронами... А вот и бумага, — сказал Фабрици, оборвав свой рассказ: — «Феличе Риварес, по прозвищу Овод. Возраст — около тридцати лет. Место рождения неизвестно, но по некоторым данным — Южная Америка. Профессия — журналист. Небольшого роста. Черные волосы. Черная борода. Смуглый. Глаза голубые. Лоб высокий. Нос, рот, подбородок...» Да, вот еще: «Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, левая рука скрючена, недостает двух пальцев. Несгладившийся шрам на лице. Заикается». Затем добавлено: «Очень искусный стрелок — при аресте следует соблюдать осторожность».

— Удивительная вещь! Как он их обманул с таким списком примет?

— Выручила его, несомненно, только смелость. Малейшее подозрение, и он бы погиб. Ему удастся выходить из любых положений благодаря уменью принимать невинный, внушающий доверие вид... Ну, так вот, господа, что же вы обо всем этом думаете? Оказывается, Ривареса многие из вас хорошо знают. Что ж, давайте скажем ему, что мы будем рады его помощи.

— Сначала надо все-таки познакомить его с нашим планом, — заговорил Фабрицци, — и спросить, согласен ли он с ним.

— Ну, поскольку речь идет о борьбе с иезуитами, Риварес согласится. Я не знаю более непримиримого антиклерикала.<sup>[48]</sup> В этом отношении он просто бешеный.

— Итак, вы напишете ему, Риккардо?

— Конечно. Сейчас припомню, где он теперь. Кажется, в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо: вечно кочует. Ну, а что касается памфлетов...

Вновь началась оживленная дискуссия. Когда наконец все стали расходиться, Мартини подошел к синьоре Болле:

— Я провожу вас, Джемма.

— Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах.

— Опять что-нибудь с адресами? — спросил он вполголоса.

— Ничего серьезного. Но все-таки, мне кажется, надо теперь кое-что изменить. На этой неделе на почте задержали два письма. И то и другое совершенно невинные, да и задержка эта, может быть, простая случайность. Однако нам нельзя рисковать. Если полиция взяла под сомнение хоть один из наших адресов, их надо немедленно изменить.

— Я приду к вам завтра. Не стоит сейчас говорить о делах — у вас усталый вид.

— Я не устала.

— Так, стало быть, опять расстроены чем-нибудь?

— Нет, так, ничего особенного.

## II

— Кэтти, миссис дома?

— Да, сударь, она одевается. Пройдите, пожалуйста, в гостиную, она сейчас спустится вниз.

Кэтти встретила гостя с истинно девонширским<sup>[49]</sup> радушием. Мартини был ее любимцем. Он говорил по-английски — конечно, как иностранец, но все-таки вполне прилично — и не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, рассуждать во все горло о политике, как это часто делали другие. А главное — Мартини приезжал в Девоншир, чтобы поддержать миссис в самое тяжелое для нее время, когда у нее умер ребенок и умирал муж. С той поры этот неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый черный кот Пашт, который сейчас примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини как на весьма полезную вещь в доме. Этот гость не наступал ему на хвост, не пускал табачного дыма в глаза и вообще был не навязчив. Он вел себя, как и подобало двуногому существу: позволял удобно свернуться у себя на коленях и мурлыкать, а за столом всегда помнил, что коту вовсе неинтересно смотреть, как люди едят рыбу. Дружба между ними завязалась уже давно. Когда Пашт был еще котенком, Мартини взял его под свое покровительство и привез из Англии в Италию в корзинке, так как больной хозяйке было не до него. И с тех пор кот имел много случаев убедиться, что этот неуклюжий, похожий на медведя человек — верный друг ему.

— Как вы оба уютно устроились! — сказала, входя в комнату, Джемма. — Можно подумать, что вы рассчитываете провести так весь вечер!

Мартини бережно снял кота с колен.

— Я пришел пораньше, — сказал он, — в надежде, что вы дадите мне чашку чаю, прежде чем мы тронемся в путь. У Грассини будет, вероятно, очень много народу и плохой ужин. В этих фешенебельных домах кормят очень плохо.

— Ну вот! — сказала Джемма смеясь. — У вас такой же злой язык, как у Галли. У бедного Грассини довольно своих грехов. Зачем ставить ему в вину еще и то, что его жена — плохая хозяйка? Ну, а чай сию минуту будет готов. Кэтти приготовила специально для вас девонширский кекс.

— Кэтти — добрая душа, не правда ли, Пашт? Кстати, то же можно сказать и о вас — я боялся, что вы забудете надеть это платье.

— Я ведь вам обещала, хотя в такой теплый вечер в нем, пожалуй, будет жарко.

— Ну, в Фьезоле<sup>[50]</sup> много прохладнее. А вам белый кашемир очень идет. Я принес цветы специально к этому платью.

— Какие чудесные розы! Мне они так нравятся! Но лучше поставить их в воду, я не люблю прикалывать цветы к платью.

— Ну вот, что за предрассудок!

— Право же, нет. Просто, я думаю, им будет грустно провести вечер на груди у такой скучной особы, как я.

— Боюсь, что нам всем придется поскучать на этом вечере. Воображаю, какие там будут невыносимо нудные разговоры!

— Почему?

— Отчасти потому, что все, к чему ни прикоснется Грассини, становится таким же нудным, как и он сам.

— Стыдно злословить о человеке, в гости к которому идешь!

— Вы правы, как всегда, мадонна.<sup>[51]</sup> Тогда скажем так: будет скучно, потому что большинство интересных людей не придет.

— Почему?

— Не знаю. Уехали из города, больны или еще что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько ученых немцев, обычная разношерстная толпа туристов и русских князей, кое-кто из литературного мира и несколько французских офицеров. И больше никого, насколько мне известно, за исключением, впрочем, нового сатирика. Он выступает в качестве главной приманки.

— Новый сатирик? Как! Риварес? Но мне казалось, что Грассини относится к нему весьма неодобрительно.

— Да, это так. Но раз о человеке много говорят, Грассини, конечно, пожелает, чтобы новый лев был выставлен напоказ прежде всего в его доме. Да, будьте уверены, Риварес не подозревает, как к нему

относится Грассини. Правда, он может догадаться — он человек сообразительный.

— Я и не знала, что он уже здесь!

— Только вчера приехал... А вот и чай. Не вставайте, я подам чайник.

Нигде Мартини не чувствовал себя таким счастливым, как в этой маленькой гостиной. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно не подозревала своей власти над ним, ее простота и сердечность — все это озаряло светом его далеко не радостную жизнь. И всякий раз, когда Мартини становилось особенно грустно, он приходил сюда по окончании работы, сидел, большей частью молча, и смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Джемма ни о чем его не расспрашивала, не выражала ему своего сочувствия. И все-таки он уходил от нее подкрепленный и успокоенный, чувствуя, что «теперь можно протянуть еще недельку-другую». Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и когда, два года назад, лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии<sup>[52]</sup> и перестреляны, быть может только ее непоколебимая вера и спасла его от полного отчаяния.

В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о делах», то-есть о работе партии Мадзини, деятельными и преданными членами которой они были оба. Тогда Джемма преображалась: она была проникательна, хладнокровна, логична, безукоризненно пунктуальна и беспристрастна. Те, кто знал Джемму только по партийной работе, считали ее опытным и дисциплинированным товарищем, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но не признавали за ней яркой индивидуальности. «Она прирожденный конспиратор, стоящий десятка таких, как мы, но больше о ней ничего не скажешь», говорил Галли. «Мадонна Джемма», которую так хорошо знал Мартини, открывала себя далеко не всем.

— Ну, так что же представляет собой ваш новый сатирик? — спросила она, открывая буфет и глядя через плечо на Мартини. — Вот вам, Чезаре, ячменный сахар и глазированные фрукты. И почему это, кстати сказать, революционеры так любят сладкое?

— Другие тоже любят, только они считают ниже своего достоинства сознаваться в этом. Новый сатирик — это человек,

которым бредят женщины, но вам он не понравится. Своего рода профессиональный остряк, с томным видом бродящий по свету.

— Да? Фабрицци говорил, что ему уже написали и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Это последнее, что я слышала. Всю эту неделю была такая уйма работы...

— Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. В денежном отношении, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать бесплатно.

— Значит, у него есть средства?

— Должно быть. Хотя это очень странно. Вы помните, у Фабрицци рассказывали, в каком состоянии его подобрала экспедиция Дюпре. Но, говорят, у него есть пай в бразильских рудниках, а кроме того, он имел огромный успех как фельетонист в Париже, в Вене и в Лондоне. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере полудюжиной языков, и ему ничто не помещает, живя здесь, продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимет у него всего времени.

— Это верно... Однако нам пора итти, Чезаре. Розы я все-таки приколю. Подождите минутку.

Она поднялась наверх и скоро вернулась с приколотыми к лиффу розами и в накинутой на голову испанской кружевной шали. Мартини окинул ее взглядом художника и объявил:

— Вы настоящая царица, мадонна моя, великая и мудрая царица Савская!<sup>[53]</sup>

— Такое сравнение меня вовсе не радует, — возразила Джемма со смехом. — Если бы вы знали, сколько я положила трудов, чтобы иметь вид светской дамы! Как же можно мне, конспиратору, походить на царицу Савскую? Это привлечет ко мне внимание шпииков.

— Все равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на пустую светскую даму. Но это не важно, вы слишком красивы, чтобы шпиики, глядя на вас, угадали ваши политические мнения, так что вам не нужно глупо хихикать в веер, подобно синьоре Грассини.

— Довольно, Чезаре, оставьте в покое эту бедную женщину. Подсластите свой злой язык ячменным сахаром. Готово? Ну, теперь пойдемте.

Мартини был прав, когда предсказывал, что вечер будет многолюдный и скучный. Литераторы вежливо болтали о пустяках и, видимо, безнадежно скучали, а разношерстная толпа туристов и русских князей переходила из комнаты в комнату, вопрошая всех, где же тут знаменитости, и силясь поддержать умный разговор.

Грассини принимал гостей с вежливостью, так же тщательно отполированной, как и его ботинки. Когда он увидал Джемму, его холодное лицо оживилось. В сущности, Грассини не любил Джемму и в глубине души даже побаивался ее, но он понимал, что без этой женщины его салон в значительной степени потерял бы свой интерес. Дела Грассини шли хорошо, ему удалось выдвинуться в своей профессии, и теперь, став человеком богатым и известным, он задался целью сделать свой дом центром интеллигентного и либерального общества. Грассини с горечью сознавал, что увядшая разряженная куколка, на которой он так опрометчиво женился в молодости, не годится в хозяйки большого литературного салона. Когда появлялась Джемма, он мог быть уверен, что вечер пройдет удачно. Спокойные и изящные манеры этой женщины вносили в общество непринужденность, и уже одно ее присутствие стирало тот налет вульгарности, который, как ему казалось, отличал его дом.

Синьора Грассини встретила Джемму очень приветливо.

— Как вы сегодня очаровательны! — громким шопотом сказала она, окидывая белое кашемировое платье враждебно-критическим взором.

Синьора Грассини всем сердцем ненавидела свою гостью именно за то, за что Мартини любил ее: за спокойную силу характера, за прямоту, за уравновешенность ума, даже за выражение лица. А когда синьора Грассини ненавидела женщину, она была с ней подчеркнута нежна. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям и пропускала их мимо ушей. Эти «выезды в свет» были для нее утомительной и неприятной обязанностью, которую должен выполнять всякий конспиратор, если он не хочет привлечь внимание шпииков. Она считала эту работу не менее утомительной, чем работу шифровальщика, и, зная, как важно для отвлечения подозрений иметь репутацию элегантной женщины, изучала модные журналы так же тщательно, как и ключи к шифрам.



Скучающие литературные львы несколько оживились, как только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и журналисты радикального направления сейчас же потянулись к ней. Но Джемма была слишком опытным конспиратором, чтобы отдать им все свое внимание. С радикалами можно встречаться каждый день, поэтому теперь она мягко указала им их настоящее дело, заметив с улыбкой, что не стоит тратить время на нее, когда здесь так много туристов, с которыми нужно поговорить. Сама же усердно занялась членом английского парламента, сочувствие которого было очень важно для республиканской партии. Он был специалистом по финансовым вопросам, и Джемма сначала спросила его мнение о каком-то техническом вопросе, связанном с австрийской валютой, а потом ловко навела разговор на состояние ломбардо-венецианского бюджета. Англичанин, ожидавший легкой болтовни, с изумлением взглянул на Джемму, испугавшись, очевидно, что попался синему чулку. Но, убедившись, что разговаривать с этой женщиной не менее приятно, чем смотреть на нее, он покорился и стал так глубокомысленно обсуждать итальянские финансы, словно перед ним был сам Меттерних<sup>[54]</sup>. Когда Грассини подвел к Джемме француза, который пожелал узнать у синьоры Боллы историю возникновения «Молодой Италии», член парламента встал, почти уверившись, что Италия действительно имеет больше оснований для недовольства, чем он предполагал.

В конце вечера Джемма незаметно выскользнула из гостиной на террасу, чтоб посидеть одной у высоких камелий и олеандров. От спертого воздуха и бесконечного потока гостей у нее начала разбалчиваться голова.

В конце террасы в больших кадках, скрытых бордюром из лилий и других цветущих растений, стояли пальмы и высокие папоротники. Все это вместе представляло сплошную ширму, за которой оставался свободный уголок с прекрасным видом на долину. Ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами, свисали над узким, проходом между растениями.

В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Ей хотелось отдохнуть в тишине и уединении, чтобы избавиться от грозящей головной боли. Ночь была теплая и



безмятежно тихая, но после душной гостиной воздух показался Джемме прохладным, и она накинула на голову свою кружевную шаль.

Звуки приближающихся шагов и чьи-то голоса заставили ее очнуться от дремоты, которая начала ею овладевать. Она подалась дальше в тень, надеясь остаться незамеченной и выиграть еще несколько драгоценных минут тишины, прежде чем вернуться к праздной беседе в гостиной. Но, к ее величайшей досаде, шаги остановились как раз, у плотной ширмы растений. На мгновение смолк тонкий, пискливый голосок синьоры Грассини. Послышался мужской голос, мягкий и музыкальный; однако странная привычка его обладателя растягивать слова немного резала слух. Что это было — просто манерность или прием, рассчитанный на то, чтобы скрыть какой-то недостаток речи? Так или иначе — впечатление получалось неприятное.

— Англичанка? — проговорил этот голос. — Но фамилия у нее итальянская. Как вы сказали: Болла?

— Да. Она вдова несчастного Джиованни Боллы — помните, он умер в Англии года четыре назад. Ах, да, я все забываю: вы ведете кочующий образ жизни и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много!

Синьора Грассини вздохнула. Она всегда беседовала с иностранцами в таком стиле. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с ее манерами пансионерки и наивным выражением лица.

— Умер в Англии... — повторил мужской голос. — Значит, он был эмигрантом? Я когда-то слышал это имя. Не входил ли Болла в организацию «Молодая Италия» в первые годы ее существования?

— Да. Болла был одним из тех несчастных юношей, которых арестовали в тридцать третьем году. Припоминаете это печальное дело? Его освободили через несколько месяцев, а потом, спустя два-три года, был подписан новый приказ об его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он женился там. Это была очень романтическая история, но бедный Болла всегда был романтиком.

— Умер в Англии, вы говорите?

— Да, от чахотки. Он не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью жена лишилась и единственного сына: он

умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму! Она, бедняжка, немного чопорна, как все англичанки. Кроме того, столько несчастий! Поневоле станешь печальной и...

Джемма встала и раздвинула ветви гранатового дерева. Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ею горестях, было невыносимо, и она вышла на свет, не скрывая своего неудовольствия.

— А вот и она! — как ни в чем не бывало воскликнула хозяйка. — Джемма, дорогая, а я-то недоумевала, куда вы пропали! Синьор Феличе Риварес хочет познакомиться с вами.

«Так вот он, Овод!» подумала Джемма, вглядываясь в него с любопытством.

Он учтиво поклонился и окинул ее взглядом, который показался ей пронизывающим и даже дерзким.

— Вы выбрали себе в-восхитительный уголок, — заметил он, глядя на плотную ширму из зелени. — И какой п-прекрасный вид!

— Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом.

— В такую чудную ночь сидеть в комнатах просто грешно, — проговорила хозяйка, подымая глаза к звездам. (У нее были красивые ресницы, и она любила показывать их.) — Взгляните, синьор: ну разве не рай наша милая Италия? Если б она была только свободна! Страна-рабыня, страна с такими цветами, с таким небом!

— И с такими патриотками! — томно протянул Овод.

Джемма взглянула на него почти с испугом: такая дерзость не могла пройти незамеченной. Но она не учла, насколько падка синьора Грассини на комплименты: бедняжка со вздохом потупила глазки.

— Ах, синьор, женщина так мало может сделать! Но как знать, может быть мне и удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой... А сейчас мне нужно вернуться к своим обязанностям. Французский посланник просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы должны тоже притти и представиться ей. Это прелестная девушка. Джемма, дорогая, я привела синьора Ривареса, чтобы показать ему, какой отсюда открывается чудесный вид. Оставляю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нем и познакомите его со всеми. А вот и обворожительный русский князь! Вы с ним не встречались? Говорят,

это фаворит императора Николая. Он командует гарнизоном какого-то польского города с таким названием, что и не выговоришь. *Quelle nuit magnifique! N'est ce pas, mon prince?*<sup>[55]</sup>

Она порхнула, щебеча, к господину с, бычьей шеей, массивной челюстью и множеством орденов на мундире, и вскоре ее жалобные причитанья о «нашем несчастном отечестве», пересыпанные возгласами «*charmant*»<sup>[56]</sup> и «*mon prince*», замерли вдали.

Джемма тихо стояла под гранатовым деревом. Ее возмутила дерзость Овода, и жаль стало бедной глупенькой женщины. Он проводил удаляющуюся пару таким взглядом, что Джемму просто зло взяло: насмеяться над этим жалким существом было невеликодушно с его стороны.

— Мне кажется, — сказала она холодно, — нехорошо высмеивать хозяйку дома.

— Да, правда, я и забыл, как в-высоко ставят в Италии долг гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы! Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть?

Прихрамывая, он прошел по террасе и принес Джемме стул, а сам стал против нее, облокотившись о балюстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь она могла свободно рассмотреть его.

Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо если и не очень приятное, то, во всяком случае, запоминающееся, с властным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросались в глаза склонность к франтовству и почти нескрываемая надменность. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, гибок, как кошка.

Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека были обезображены длинным кривым шрамом — по-видимому, от давнего удара саблей. Джемма заметила, что когда он начинал заикаться, эта сторона лица подергивалась нервной судорогой. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив, но, в общем, лицо его не отличалось привлекательностью.

Овод снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыкая.

«Вот так говорил бы ягуар, будь он в хорошем настроении и имей он дар речи», подумала Джемма, раздражаясь все больше и больше.

— Я слышал, — сказал он, — что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах.

— Пишу иногда. У меня мало свободного времени.

— Ах, да, это понятно: синьора Грассини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами.

Джемма подняла брови. Очевидно, синьора Грассини, по своей глупости, наболтала лишнего этому скользкому человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме.

— Да, это правда, я очень занята, но синьора Грассини преувеличивает значение моей работы, — сухо ответила Джемма. — Все это по большей части совсем несложные дела.

— Ну что ж, было бы очень плохо, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию. Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги может привести каждого в легкомысленное настроение. Их патриотизм меня просто смешит!.. Вы хотите вернуться в комнаты? Здесь так хорошо!

— Нет, нужно итти. Ах, моя шаль... Благодарю вас.

Он поднял шаль и, выпрямившись, посмотрел на Джемму глазами невинными и голубыми, как незабудки у ручья.

— Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой, — проговорил он тоном кающегося грешника. — Но разве можно не смеяться над ней?

— Если вы меня спрашиваете, я вам скажу: по-моему, невеликодушно и... нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это все равно, что смеяться над калекой или...

Он вдруг болезненно перевел дыхание и отшатнулся от Джеммы, взглянув на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собой и разразился хохотом:

— Сравнение не слишком удачно, синьора: мы, калеки, не кичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью. Здесь ступенька — возьмите мою руку.

Джемма вошла в зал молча, в недоумении: его неожиданная чувствительность сбила ее с толку.

Она облегченно вздохнула, когда спустя минуту к ней подошел хозяин и попросил занять туристов в другой комнате.

\* \* \*

— Ну, что вы скажете об Оводе, мадонна? — спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию. — Вы, кажется, разговаривали с ним? Какое впечатление он на вас произвел?

— О, Чезаре, я только и думала, как бы поскорее избавиться от него! Первый раз в жизни встречаю такого утомительного собеседника. Через десять минут у меня разболелась голова. Это какой-то демон.

— Я так и думал, что он вам не понравится, как и мне. Этот человек скользок, как угорь. Я ему не доверяю.

### III

Овод снял дом за городом, недалеко от Римских ворот. Он был, очевидно, большой сибарит. Обстановка его квартиры, правда, не поражала роскошью, но во всех мелочах сказывались любовь к изящному и прихотливый, тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Риккардо. От человека, прожившего годы на берегах Амазонки, они ждали большей простоты привычек и удивлялись, глядя на его безупречные галстуки, множество ботинок и букеты цветов, постоянно стоявшие у него на письменном столе. Но, в общем, они ладили с ним. Овод дружелюбно и приветливо принимал гостей, особенно членов местной организации партии Мадзини. Но Джемма, по-видимому, представляла исключение из этого правила: он как будто невзлюбил ее с первой же встречи и всячески избегал ее общества. В двух-трех случаях он даже был резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу; у них были до такой степени разные темпераменты, что ничего, кроме неприязни, они друг к другу чувствовать не могли. Но у Мартини эта неприязнь скоро перешла в открытую вражду.

— Меня мало интересует то, что я ему не нравлюсь, — с обидой в голосе сказал как-то Мартини. — Сам я его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но я не могу простить его отношения к вам. Я бы потребовал у него объяснений по этому поводу, но боюсь скандала: не ссориться же с ним, раз мы сами пригласили его.

— Оставьте его в покое, Чезаре. Это не имеет никакого значения. Да к тому же я сама виновата не меньше его.

— В чем же вы виноваты?

— В том, что он меня так невзлюбил. Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грассини, я сказала ему грубость.

— Вы сказали грубость? Мадонна, этому трудно поверить.

— Конечно, это вышло нечаянно, и я была очень огорчена. Я сказала, что нехорошо смеяться над калеками, а он увидел в этом намек на себя. Мне и в голову не приходило считать его калекой: он вовсе не так уж изуродован.

— Разумеется. Только одно плечо выше другого да левая рука порядком искалечена, но он не горбун и не кривоногий. Немного

прихрамывает, но об этом и говорить не стоит.

— Тем не менее его тогда передернуло и он изменился в лице. С моей стороны это была, конечно, ужасная бестактность, но все-таки странно, что он так чувствителен. Хотелось бы мне знать, часто ли ему приходилось страдать от подобных насмешек.

— Гораздо легче себе представить, как он сам насмехался над другими. При всем изяществе своих манер он по натуре грубый человек, и мне это противно.

— Вы несправедливы, Чезаре. Я тоже не люблю Ривареса, но зачем же преувеличивать его недостатки? Правда, у него аффектированная и раздражающая манера держаться — виной этому, очевидно, избалованность. Правда и то, что вечное острословие страшно утомительно. Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью.

— Какая у него может быть цель, я не знаю, но в человеке, который вечно все высмеивает, есть что-то нечистое. Противно было слушать, как на одном собрании у Фабрицци он глумился над последними реформами в Риме.<sup>[57]</sup> Кажется, он во всем хочет найти какой-то гадкий мотив.

Джемма вздохнула.

— Боюсь, что в этом пункте я скорее соглашусь с ним, чем с вами, — сказала она. — Все вы, добрые люди, легко предаетесь радужным надеждам; вы всегда склонны думать, что если папский престол займет добродушный господин средних лет, все остальное приложится: он откроет двери тюрем, раздаст свои благословения направо и налево — и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы никогда не поймете, что он при всем своем желании не сможет водворить на земле справедливость. Дело здесь не в поведении того или другого человека, а в неверном принципе.

— Какой же это неверный принцип? Светская власть папы?

— Почему? Это частность. Дурно то, что одному человеку дается власть над другими. На такой ложной основе нельзя строить отношения между людьми.

Мартини воздел руки.

— Пощадите, мадонна! — сказал он смеясь. — Эта дискуссия мне не по силам. Кроме того, я пришел не спорить, а показать вам вот эту рукопись.

Мартини вынул из кармана несколько листов бумаги.

— Новый памфлет?

— Еще одна нелепица, которую этот несчастный Риварес представил на вчерашнем заседании комитета. Чувствую я, что скоро у нас с ним дойдет до драки.

— Да в чем же дело? Право, Чезаре, вы предубеждены против него. Риварес, может быть, неприятный человек, но он не дурак.

— Я не отрицаю, что памфлет написан неглупо, но прочтите лучше сами.

В памфлете высмеивался бурный энтузиазм, с каким Италия все еще превозносила нового папу. Написан он был язвительно и злобно, как все, что выходило из-под пера Овода; но как ни раздражал Джемму его стиль, в глубине души она не могла не признать справедливости такой критики.

— Я вполне согласна с вами, что это злопыхательство отвратительно, — сказала она, положив рукопись на стол. — Но ведь это все правда — вот что хуже всего!

— Джемма!

— Да, это так. Называйте этого человека скользким угрем, но правда на его стороне. Бесплезно убеждать себя, что памфлет не попадет в цель. Попадет!

— Вы, пожалуй, скажете, что его надо напечатать?

— А, это другой вопрос. Я не думаю, что мы должны печатать его в таком виде. Он оскорбит и оттолкнет от нас решительно всех и не принесет никакой пользы. Но если Риварес переделает его немного, выбросив нападки личного характера, тогда это будет действительно ценная вещь. Политическая часть памфлета превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует, то, чего не решаемся сказать мы. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьяницей, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривает его карманы!

— Джемма! Да ведь это самое худшее место во всем памфлете! Я не выношу такого огульного облаивания всех и вся.

— Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный стиль, да и сам он человек непривлекательный, но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, лобзаниями и



призывами к любви и примирению и что иезуиты и санфедисты сумеют обратить все это в свою пользу, он тысячу раз прав. Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов порешили?

— Да вот, за этим я и пришел: вас просят сходить к Риваресу и убедить его, чтобы он смягчил свой памфлет.

— Сходить к нему? Но я его почти не знаю. И, кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна идти, а не кто-нибудь другой?

— Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас: вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.

— От этого я воздержусь, конечно. Ну, хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю: надежды на успех мало.

— А я уверен, что вы сумеете уломать его. И скажите ему, что комитет восхищается памфлетом как литературным произведением. Он сразу подобоится от такой похвалы, и притом это совершенная правда.

\* \* \*

Овод сидел у письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматая шотландская овчарка, лежавшая на ковре у его ног, подняла голову и зарычала, когда Джемма постучалась в дверь. Овод поспешно встал и отвесил гостье сухой, церемонный поклон. Лицо его вдруг словно окаменело, утратив всякое выражение.

— Вы слишком любезны, — сказал он ледяным тоном. — Если бы мне дали знать, что вам нужно меня видеть, я сейчас же явился бы к вам.

Чувствуя, что он мысленно прокликает ее, Джемма сразу же приступила к делу. Овод опять поклонился и подвинул ей кресло.

— Я пришла к вам по поручению комитета, — начала она. — Там возникли некоторые разногласия насчет вашего памфлета.

— Я так и думал. — Он улыбнулся и сел против нее, передвинув на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить от света

лицо.

— Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде его совершенно неудобно печатать. Резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка так важны для партии.

Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на тонких пальцах его правой руки, и тревожное чувство овладело ею — словно она уже видела когда-то раньше этот жест.

— Как литературное произведение памфлет мой ничего не стоит, — проговорил он тихим, холодным голосом, — и с этой точки зрения им могут восторгаться только те, кто ничего не понимает в литературе. А что он оскорбителен — так ведь я этого и хотел.

— Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары могут попасть не в тех, в кого нужно.

Овод пожал плечами и прикусил оторванный лепесток.

— По-моему, вы ошибаетесь, — проговорил он. — Вопрос стоит так: для какой цели пригласил меня ваш комитет? Для того, как я понимаю, чтобы вывести иезуитов на чистую воду и высмеять их. Эту обязанность я и выполняю по мере своих способностей.

— Могу вас уверить, что никто не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, что памфлет оскорбит либеральную партию и лишит нас моральной поддержки городских рабочих. Ваш памфлет направлен против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового папу, а это, по тактическим соображениям, комитет считает нежелательным.

— Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю на тех господ из духовенства, с которыми партия в дурных отношениях, мне разрешается говорить всю правду. Но как только я коснусь священников — любимцев комитета, о, тогда оказывается, что правда — это дворовый пес, которого надо держать на цепи. Конечно, я подчинюсь решению комитета, но все же мне думается, что он обращает внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-монсиньора<sup>[58]</sup> М-монтан-н-нелли.

— Монтанелли? — повторила Джемма. — Я вас не понимаю. Вы говорите о епископе Бризигеллы?

— Да. Новый папа только что назначил его кардиналом. Вот — я получил письмо. Не хотите ли послушать? Пишет один из моих друзей, живущих по ту сторону границы.

— Какой границы? Папской области?

— Да. Вот что он пишет.

Овод снова взял письмо, которое держал в руках, когда вошла Джемма, и начал читать, сильно заикаясь:

— «В-вы скоро б-будете иметь уд-довольствие ветре-т-титься с одним из наших злейших врагов, к-кардина-лом Л-лоренцо М-монтанелли, еп-пископом Бриз-зигел-лы. Он...»

Риварес оборвал чтение и минуту молчал. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже больше не заикаясь:

— «Он намеревается посетить Тоскану в будущем месяце. Приедет туда с особо важной миссией «примирения». Будет проповедовать сначала во Флоренции, где проживет недели три, потом поедет в Сиену и в Пизу и, наконец, через Пистойю<sup>[59]</sup> возвратится в Романью<sup>[60]</sup>. Он открыто примкнул к либеральному направлению в церковных кругах. Личный друг папы и кардинала Феретти<sup>[61]</sup>. При папе Григории был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апеннинах. Теперь Монтанелли быстро выдвинулся. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и в своем роде так же вреден, как сам Ламбручини. Его задача — поддерживать как можно дольше всеобщий энтузиазм по поводу избрания нового папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготовляемый агентами иезуитов декрет. В чем состоит этот декрет, мне не удалось узнать».

Теперь дальше:

«Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов, разобрать трудно. Он или необыкновенно умный негодяй, или величайший осел».

Овод положил письмо и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами в ожидании, что она скажет.

— Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты? — спросила она после паузы.

— Да, в этом я могу вполне положиться на автора письма. Это мой старый друг, один из товарищей по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, которое дает ему исключительные возможности разузнавать о такого рода вещах.

«Какой-нибудь чиновник в Ватикане, — промелькнуло в голове у Джеммы. — Так вот какие у него связи! Я, впрочем, так и думала».

— Письмо это, конечно, частного характера, — продолжал Овод, — и вы понимаете, что содержание его никому, кроме членов вашего комитета, не должно быть известно.

— Само собой разумеется. Но вернемся к памфлету. Могу ли я сказать товарищам, что вы согласны сделать кое-какие изменения и немного смягчить тон, или...

— А вы не думаете, синьора, что изменения могут не только ослабить силу сатиры, но и испортить красоту «литературного произведения»?

— Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.

— Следует ли заключить из этого, что в-вы лично расходитесь с мнением комитета?

Он спрятал письмо в карман и, наклонившись вперед, смотрел на нее внимательным, пытливым взглядом, совершенно изменившим выражение его лица.

— Вы думаете, что...

— Если вас интересует, что думаю я лично, извольте: я несогласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу, что он правильно освещает факты и весьма умен в тактическом отношении.

— То-есть?

— Я вполне согласна с вами, что Италия тянется к блуждающим огонькам и что все эти восторги и ликования заведут ее в ужасную трясину. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член организации, большинство которой держится

противоположного взгляда, я не могу настаивать на своем личном мнении. И, разумеется, я тоже считаю, что если уж говорить, то говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как в этом памфлете.

— Вы подождете минутку, пока я просмотрю рукопись?

Он взял памфлет, пробежал его от начала до конца и недовольно нахмурился:

— Да, вы совершенно правы. Это дешевый фельетон, а не политическая сатира. Но что же поделаешь? Напиши я в благопристойном тоне, публика не поймет. Если не будет злословия, покажется скучно.

— А вы не думаете, что злословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?

Он посмотрел на нее быстрым, пронизывающим взглядом и расхохотался:

— Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Но если я устою против искушения и не буду злым, то стану таким нудным, как синьора Грассини. Небо, какая судьба! Нет, не хмурьтесь! Я знаю, что вы меня не любите, и возвращаюсь к делу. Положение, следовательно, таково. Если я выброшу все личные нападки и оставлю самую существенную часть, как она есть, комитет выразит сожаление, что не сможет напечатать этот памфлет под свою ответственность; если же я пожертвую правдой и направлю все удары на отдельных врагов партии, комитет будет превозносить мое произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Что же лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что скажет на это синьора?

— Я не думаю, чтобы вы были связаны такой альтернативой.<sup>[62]</sup> И если вы отбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, многие будут против него. И, мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить тон. Уж если преподносить читателю такую пилюлю, так не надо отпугивать его с самого начала резкостью формы.

Овод пожал плечами и покорно вздохнул:

— Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Сейчас вы лишаете меня права смеяться, но в недалеком будущем я им

воспользуюсь. Когда его преосвященство, безупречный кардинал, появится во Флоренции, тогда уж ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. Это уж мое право!

Он говорил самым небрежным и холодным тоном и, то и дело вынимая хризантемы из вазы, рассматривал на свет прозрачные лепестки. «Как у него дрожит рука! — думала Джемма, глядя на колеблющиеся цветы. — Неужели он пьет?»

— Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета, — сказала она вставая. — Я не могу предугадать, как они решат.

— А как бы решили вы? — Он тоже поднялся и стоял, прижимая к лицу цветы.

Джемма колебалась. Вопрос этот смутил ее, всколыхнул старые горькие воспоминания.

— Я, право, не знаю, — сказала она наконец. — Мне приходилось не раз слышать о монсиньоре Монтанелли много лет назад. Он был тогда каноником и ректором духовной семинарии в том городе, где я жила в детстве. Мне много рассказывал о нем один... человек, который знал его очень близко. Я никогда не слышала о Монтанелли ничего дурного и считала его замечательным человеком. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть развращает многих людей.

— Во всяком случае, — сказал Овод, — если монсиньор Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Камень, лежащий на дороге, может иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать... Позвольте, синьора. — Он позвонил, подошел, прихрамывая, к двери и открыл ее. — Вы очень добры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской? Нет? До свиданья. Бианка, проводите, пожалуйста, синьору.

Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.

«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирой, то почему его глаза так угрожающе вспыхнули?»

## IV

Монсиньор Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он был знаменитым проповедником и представителем нового течения в католических кругах. Все ждали, что он скажет слова любви и мира, которые уврачуют все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци государственным секретарем Папской области вместо ненавистного всем Ламбручини довело всеобщий энтузиазм до предела. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать восторженное настроение. Безупречная строгость его жизни была настолько редким явлением среди высших католических сановников, что одно это привлекло к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимым условием карьеры служителей церкви. Кроме того, у него был действительно замечательный талант проповедника, а прекрасный голос и большое личное обаяние неизменно служили ему залогом успеха.

Грассини, как всегда, выбивался из сил, чтобы залучить к себе новую знаменитость. Но сделать это было не так-то легко: на все приглашения Монтанелли отвечал вежливым, но решительным отказом, ссылаясь на плохое здоровье и недосуг.

— Вот всеядные животные эти супруги Грассини! — с презрением сказал Мартини Джемме, проходя с нею через площадь Синьории ясным и прохладным воскресным утром. — Вы заметили, какой поклон он отвесил коляске кардинала? Им все равно, что за человек, лишь бы о нем говорили. В жизни своей не видел таких охотников за знаменитостями. Еще недавно, в августе, — Овод, а теперь — Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным таким вниманием. Он делит его с целой оравой авантюристов.

Они слушали проповедь Монтанелли в кафедральном соборе. Громадный храм был так переполнен народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что Мартини, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, убедил ее уйти до конца службы.

Воспользовавшись первым солнечным утром после недели дождей, он предложил Джемме погулять по зеленым склонам холмов.

— Нет, — сказала она, — я охотно пройду, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Пойдемте лучше к мосту: там будет проезжать Монтанелли на обратном пути из церкви, а мне, как Грассини, хочется посмотреть на знаменитость.

— Но вы ведь только что видели его.

— Издали. В соборе была такая давка... а когда он проезжал, мы видели его в спину. Надо подойти поближе к мосту, тогда разглядим как следует.

— Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.

— Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Мне хочется знать, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз.

— А когда вы его видели?

— Через два дня после смерти Артура.

Мартини с тревогой взглянул на нее. Они шли к мосту, и Джемма смотрела на воду тем ничего не видящим взглядом, который всегда так пугал его.

— Джемма, дорогая, — сказал он минуту спустя, — неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в семнадцать лет.

— Но не каждый из нас в семнадцать лет убивает своего лучшего друга, — ответила она усталым голосом и облокотилась о каменную балюстраду моста.

Мартини замолчал: он боялся говорить с ней, когда на нее находило такое настроение.

— Как увижу воду, так сразу вспомню об этом, — сказала Джемма, медленно поднимая глаза, и затем добавила с нервной дрожью: — Пойдемте, Чезаре, холодно стоять здесь.

Они молча перешли мост и свернули на набережную. Через несколько минут Джемма снова заговорила:

— Какой красивый голос у этого человека! В нем есть то, чего нет ни в каком другом человеческом голосе. В этом, я думаю, секрет его обаяния.



— Да, голос чудесный, — подхватил Мартини, пользуясь этой новой темой, чтобы отвлечь ее от страшных воспоминаний, навеянных видом реки. — Да и помимо голоса, это лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет обаяния Монтанелли кроется глубже: в безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли вы укажете другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого папы, с такой незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романью, мне пришлось побывать в епархии Монтанелли, и я видел, как суровые горцы ожидали его под дождем, чтобы только взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтут Монтанелли почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье ненавидят всех, кто носит рясу. Я сказал одному старику-крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Попов мы не любим, все они лгуны. Мы любим монсиньора Монтанелли. Он не лжет, и он справедлив».

— Интересно, — сказала Джемма, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к Мартини, — известно ли ему, что о нем думает народ?

— Наверно, известно. А вы полагаете, что это неправда?

— Да, неправда.

— Откуда вы знаете?

— Он сам мне сказал.

— Он? Монтанелли? Джемма, когда это было?

Она откинула волосы со лба и повернулась к нему. Они снова остановились. Мартини облокотился о балюстраду, а Джемма медленно чертила зонтиком по мостовой.

— Чезаре, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам, что в действительности произошло с Артуром...

— И не надо рассказывать, дорогая, — поспешно остановил ее Мартини. — Я все знаю.

— От Джиованни?

— Да. Он рассказал мне об этом незадолго до своей смерти, как-то ночью, когда я сидел у его постели... Джемма, дорогая, раз мы заговорили об этом, то лучше уж сказать вам всю правду... Он говорил, что вас постоянно мучит воспоминание об этом несчастном

событии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от этих мыслей. И я делал, что мог, хотя, кажется, безуспешно.

— Я знаю, — ответила она тихо, подняв на него глаза. — Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы. А о монсеньоре Монтанелли Джиованни вам тогда ничего не говорил?

— Нет. Я и не знал, что Монтанелли имеет какое-то отношение к этой истории. Он рассказал мне только о доносе и...

— И о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.

Они повернули к мосту, через который должна была проехать коляска кардинала. Джемма начала рассказывать, не отводя глаз от воды:

— Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии и, когда Артур поступил в университет, продолжал заниматься с ним. Они очень любили друг друга и были похожи скорее на двух влюбленных, чем на учителя и ученика. Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что утопится, если лишится своего падре. Так он всегда называл Монтанелли. Ну, про донос вы знаете... На следующий день мой отец и Бертоны — сводные братья Артура, отвратительнейшие люди — целый день пробыли на реке, отыскивая труп; а я сидела в своей комнате одна и думала о том, что я сделала.

Несколько секунд Джемма молчала.

— Поздно вечером ко мне зашел отец и сказал: «Джемма, дитя мое, сойди вниз; там пришел какой-то человек: ему нужно тебя видеть». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Бледный, весь дрожа, он рассказал мне о втором письме Джиованни. В нем сообщалось, что он узнал от одного надзирателя о Карди, который выманил у Артура признание на исповеди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение: теперь мы знаем, что Артур не был виновен». Отец держал меня за руки, старался успокоить. Тогда он еще не знал о пощечине. Я вернулась к себе в комнату и провела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны снова отправились в гавань. У них еще оставалась надежда найти тело.

— Но ведь его не нашли?

— Не нашли. Должно быть, унесло в море. Я была у себя в комнате, и вдруг приходит служанка и говорит: «сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что отец в доках, ушел. Я догадалась, что это Монтанелли, выбежала черным ходом и догнала его у садовой калитки. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», он сейчас же остановился и стал молча ждать. Ах, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами долгие месяцы! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена, и я должна признаться вам, что это я убила Артура». И рассказала ему все, как было, а он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя мое, не вы его убийца, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом». Потом быстро повернулся и вышел из сада, не прибавив больше ни слова.

— А потом?

— Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в припадке — это было недалеко от доков, и его внесли в один из ближайших домов. Больше я ничего не знаю. Мой отец сделал для меня все, что мог. Когда я рассказала ему обо всем, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, где ничто не могло напомнить мне о прошлом. Он боялся, как бы я тоже не бросилась в воду, и, кажется, я действительно была близка к этому. А потом, когда обнаружилось, что отец болен раком, я должна была взять себя в руки, — ведь, кроме меня, ухаживать за ним было некому. После его смерти дети остались у меня на руках, пока мой старший брат не смог взять их к себе. Потом приехал Джиованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться: между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что и на нем лежит ответственность — это несчастное письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, что именно общее горе и сблизило нас.

Мартини улыбнулся и покачал головой.

— Может быть, с вашей стороны так и было, — сказал он, — но для Джиованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас... А, вот и кардинал!

Карета проехала по мосту и остановилась у большого дома на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он,

видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся у дверей, чтобы взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее это лицо в соборе, угасло, и теперь, при ярком солнечном свете, на нем были видны следы забот и усталости. Когда он вышел из кареты и тяжелой старческой поступью поднялся по ступенькам, Джемма повернулась и медленно зашатала к мосту. На ее лице словно отразился потухший, безнадежный взгляд Монтанелли. Мартини молча шел рядом с ней.

— Меня часто занимала мысль, — заговорила она снова, — в чем он мог обманывать Артура? И мне иногда приходило в голову...

— Да?

— Может быть, это нелепость... но между ними такое поразительное сходство...

— Между кем?

— Между Артуром и Монтанелли. И не я одна это замечала. Кроме того, в отношениях между членами этой семьи было что-то загадочное. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых милых женщин, каких я знала. Такое же одухотворенное лицо, как у Артура; да и характером, мне кажется, они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. Жена ее пасынка обращалась с ней так, как приличные люди не обращаются даже с собакой. А сам Артур был совсем не похож на всех этих вульгарных Бертонов... В детстве, конечно, многое принимаешь как должное, но потом мне часто приходило в голову, что Артур — не Бертон.

— Возможно, что он узнал что-нибудь о матери. И это могло быть причиной его самоубийства, а совсем не предательство Карди, — сказал Мартини, цепляясь за это единственное утешение.

Но Джемма покачала головой:

— Если б вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я его ударила, вы бы не стали так говорить. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны — в них нет ничего неправдоподобного... Но что я сделала, то сделала.

Несколько минут они шли молча.

— Дорогая, — заговорил наконец Мартини, — если бы у нас была хоть малейшая возможность изменить то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками. Но раз их нельзя исправить — пусть мертвые оплакивают мертвых. История эта ужасна. Впрочем,

бедный юноша, пожалуй, счастливее многих из оставшихся в живых, которые сидят теперь по тюрьмам или находятся в изгнании. Вот о ком надо думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвым. Вспомните, что говорил ваш любимец Шелли:<sup>[63]</sup> «Что было — смерти, будущее — мне». Берите его, пока оно ваше, и думайте не о том дурном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, что вы еще можете сделать.

Увлеченный своими словами, Мартини взял Джемму за руку и сейчас же отпустил ее, услышав позади холодный, мурлыкающий голос.

— Монсиньор Монтан-нелли, — произнес этот томный голос, — обладает всеми теми добродетелями, почтеннейший доктор, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. Там, вероятно, немало духов, н-никогда еще не выдавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи — большие охотники до новинок...

— Откуда вы это знаете? — послышался голос Риккардо, в котором звучала нота плохо сдерживаемого раздражения.

— Из священного писания, мой дорогой. Если верить евангелию, то даже самый почтенный дух имел склонность к весьма причудливым сочетаниям. А честность и к-кардинал, по-моему, весьма причудливое сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом... А! Синьор Мартини и синьора Болла! Чудесная погода, не правда ли? Вы тоже слушали н-нового Савонаролу?<sup>[64]</sup>

Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и с оранжерейным цветком в петлице, протягивал ему свою тонкую руку, обтянутую элегантной перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его безукоризненных ботинках и освещало его улыбающееся лицо, он показался Мартини не таким безобразным, но еще более самодовольным. Они пожали друг другу руку: один приветливо, другой угрюмо. В эту минуту Риккардо вдруг воскликнул:

— Вам дурно, синьора Болла!

По лицу Джеммы, прикрытому полями шляпы, разлилась мертвенная бледность; ленты, завязанные у горла, вздрагивали в такт биению сердца.

— Я поеду домой, — сказала она слабым голосом.

Подозвали коляску, и Мартини сел с Джеммой, чтобы проводить ее до дому. Поправляя плащ Джеммы, свесившийся на колесо, Овод вдруг поднял на нее глаза, и Мартини заметил, что она отшатнулась от него с выражением ужаса на лице.

— Что с вами, Джемма? — спросил он, как только они отъехали. — Что вам сказал этот негодяй?

— Ничего, Чезаре. Он тут ни при чем. Я... испугалась.

— Испугались?

— Да!.. Мне почудилось...

Джемма прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, когда она снова придет в себя. Ее лицо порозовело.

— Вы были совершенно правы, — повернувшись к нему, сказала наконец Джемма своим обычным голосом: — оглядываться на страшное прошлое бесполезно. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать самые невозможные вещи. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном начну видеть сходство с Артуром. Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди бела дня. Представьте: сейчас, когда этот противный фат подошел к нам, мне показалось, что это Артур.

## V

Овод, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, были о нем такого же мнения, как и Мартини. Даже его поклонники были недовольны свирепыми нападками на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать все, что ни скажет остроумный сатирик, начинал смущенно признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое: «Честных кардиналов не так уж много, с ними надо обращаться повежливее».

Единственный, кто оставался, по-видимому, равнодушным к этому граду карикатур и пасквилей, [65] был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, говорил Мартини, на то, чтобы высмеивать человека, который относится к этому так благодушно. Рассказывали, что, принимая у себя архиепископа флорентийского, Монтанелли нашел в комнате один из злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и передал архиепископу со словами: «А ведь неглупо написано, не правда ли?»

Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но ничего этим не добились. В ответ на все доводы он только любезно улыбался и отвечал, чуть заикаясь:

— П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я специально выговорил себе п-право посмеяться в свое удовольствие, когда придет М-монтанелли. Таков был наш уговор.

В конце октября Монтанелли выехал к себе в епархию в Романье, а в конце ноября Овод заявил комитету о своем намерении съездить недели на две к морю. Он уехал, по-видимому, в Ливорно. Но когда вскоре туда же явился доктор Риккардо и захотел повидаться с Оводом, его нигде не оказалось. Пятого декабря в Папской области, вдоль всей цепи Апеннинских гор, начались бурные политические выступления, и многие стали тогда догадываться, почему Оводу пришла вдруг фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во

Флоренцию, когда восстание было подавлено, и, встретив на улице Риккардо, сказал ему любезным тоном:

— Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой чудесный старинный город! В нем чувствуешь себя, точно в счастливой Аркадии!<sup>[66]</sup>

На святках он присутствовал на собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было очень многолюдное, и когда Овод вошел в комнату, с улыбкой прося извинить его за опоздание, для него не нашлось свободного места. Риккардо поднялся было, чтобы принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его:

— Не беспокойтесь, я отлично устроюсь.

Он подошел к окну, возле которого сидела Джемма, и, сев на подоконник, прислонился головой к жалюзи.

Джемма чувствовала на себе загадочный взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами Леонардо да-Винчи,<sup>[67]</sup> и ее инстинктивное недоверие к этому человеку быстро уступило место безрассудному страху.

На обсуждение собрания был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожавшего Тоскане голода. Комитет должен был наметить те меры, какие следовало принять против этого бедствия. Притти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко разделились. Наиболее передовая часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за обращение к правительству и к обществу с энергичным призывом немедленно принять меры для своевременной помощи крестьянам. Более умеренные, в том числе, конечно, и Грассини, опасались, что слишком энергичный тон обращения может только раздражить правительство, ни в чем не убедив его.

— Разумеется, господа, весьма желательно, чтобы помощь была оказана без промедления, — говорил Грассини, снисходительно поглядывая на волнующихся радикалов. — У многих из нас есть несбыточные желания. Но если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Если бы нам удалось заставить правительство провести обследование урожая, то и это было бы шагом вперед.



Галли, сидевший в углу около камина, не замедлил накинуться на своего противника:

— Шагом вперед? Но если голод придет на самом деле, его этим не остановишь. Если мы пойдем такими шагами, народ перемрет, не дождавшись нашей помощи.

— Интересно бы знать... — начал было Саккони, но тут с разных мест раздались голоса:

— Говорите громче: не слышно!

— Как тут услышишь, когда на улице такой адский шум! — сердито сказал Галли. — Окно закрыто, Риккардо? Самого себя не слышно!

Джемма оглянулась.

— Да, — сказала она, — окно закрыто. Там, кажется, проезжает бродячий цирк.

Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще рев скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.

— Теперь уж такие дни, приходится мириться, с этим, — сказал Риккардо. — На святках всегда бывает шумно... Так что вы говорите, Саккони?

— Я говорю: интересно бы знать, что думают об этом в Пизе и в Ливорно. Может быть, синьор Риварес расскажет нам? Он как раз оттуда.

Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили в комнате.

— Синьор Риварес! — позвала его Джемма, сидевшая к нему ближе всех.

Овод не отозвался, и тогда она наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и Джемма вздрогнула, пораженная страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновение ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы Овода как-то странно дрогнули.

— Да, это бродячий цирк, — прошептал он.

Ее первым инстинктивным движением было оградить Овода от любопытных взоров. Не понимая еще, что с ним, Джемма догадывалась, что его целиком охватила какая-то страшная галлюцинация. Она быстро встала и, заслонив его собой, распахнула

окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу. Никто, кроме нее, не видел его лица.



По улице двигался цирк с клоунами, восседавшими на ослах, и арлекинами<sup>[68]</sup> в пестрых костюмах.

Праздничная толпа масок, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась серпантинном с клоунами, швыряла мешочки с леденцами Коломбине<sup>[69]</sup>, которая восседала на своей колеснице, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и с застывшей улыбкой на подкрашенных губах. За колесницей толпой валили мальчишки, нищие, акробаты, выделявавшие на ходу всякие головоломные трюки, и продавцы безделушек и сладостей. Все они смеялись и аплодировали кому-то, но кому именно, Джемма сначала не могла разглядеть. А потом она увидела, что это был горбатый,

безобразный карлик в шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, очевидно, принадлежал к составу труппы и забавлял толпу страшными гримасами и кривляньем.

— Что там такое? — спросил Риккардо, подходя к окну. — Вы как будто очень заинтересованы?

Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то бродячих актеров.

Джемма повернулась к нему.

— Ничего интересного, — сказала она. — Просто бродячий цирк. Но они так шумят, что я думала, там что-нибудь случилось.

Она вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ей руку.

— Благодарю вас! — прошептал он и закрыл окно. — Простите, что я прервал вас, господа, — сказал он шутливым тоном. — Я загляделся на комедиантов. В-весьма любопытное зрелище.

— Саккони обратился к вам с вопросом, — резко сказал Мартини.

Поведение Овода казалось ему нелепым ломаньем, и он досадовал, что Джемма так бестактно последовала его примеру. Это было совсем не похоже на нее.

Овод объявил, что ему ничего не известно о настроениях в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И тотчас же пустился в оживленные рассуждения сначала об угрозе голода, затем о прокламации и под конец замучил всех потоком слов и заиканьем. Казалось, он находил какое-то болезненное удовольствие в звуках собственного голоса.

Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошел к Мартини:

— Оставайтесь обедать. Фабрицци и Саккони тоже останутся.

— Благодарю, но я хочу проводить синьору Боллу.

— Вы, кажется, опасаетесь, что я не доберусь до дому одна? — сказала Джемма, подымаясь и накидывая плащ. — Конечно, он останется у вас, доктор Риккардо! Ему полезно развлечься. Он слишком засиделся дома.

— Если позволите, я вас провожу, — вмешался в их разговор Овод. — Я иду в ту же сторону.

— Если вам в самом деле по дороге...

— А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечерком? — спросил Риккардо, отворяя им дверь.

Овод, смеясь, оглянулся через плечо:

— У меня, друг мой? Я хочу пойти в цирк.

— Что за чудак! — сказал Риккардо, вернувшись к гостям. — Откуда у него такое пристрастие к балаганным шутам?

— Очевидно, сродство душ, — сказал Мартини. — Он сам настоящий балаганный шут.

— Хорошо, если только шут, — серьезным тоном проговорил Фабрици. — Но я боюсь, что если он и шут, то очень опасный.

— Опасный? В каком отношении?

— Не нравятся мне его таинственные увеселительные поездки. Это уже третья по счету, а я не верю, что он был в Пизе.

— По-моему, ни для кого не секрет, что Риварес ездит в горы, — сказал Саккони. — Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами. Он пользуется их услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу Папской области.

— Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить, — сказал Риккардо. — Мне пришло в голову, что самое лучшее — попросить Ривареса взять на себя руководство нашей контрабандой. Типография в Пистойе, по-моему, работает очень плохо, а доставка туда литературы одним и тем же способом — в сигарах — чересчур примитивна.

— Однако до сих пор она была хороша, — упрямо возразил Мартини.

Ему страшно надоело то, что Галли и Риккардо вечно выставляют Овода в качестве образца для подражания, он положительно находил, что все шло как нельзя лучше, пока среди них не появился этот человек, вздумавший учить всех уму-разуму.

— Да, до сих пор она удовлетворяла нас за неимением лучшего. Но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций. Я думаю, если это дело возьмет на себя Риварес, больше таких провалов не будет.

— Почему вы так думаете?

— Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужаков, а может быть, даже просто как на дойную корову, а Риварес — по меньшей мере их друг, если не предводитель. Его они слушаются и верят ему. А во-вторых, едва ли между нами найдется хоть один, кто

так хорошо знал бы горы, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался там и ему отлично известна каждая горная тропинка. Ни один контрабандист не посмеет обмануть Ривареса, а если бы даже и решился, это ему все равно не удастся.

— Итак, вы предлагаете поручить ему все дело доставки нашей литературы в Папскую область — распределение, адреса, тайные склады и вообще все — или же просить его только взять на себя провоз через границу?

— Что касается наших адресов и тайных складов, то они, вероятно, все ему известны. И не только эти, а и многие другие. Так что в этом отношении его учить нечему. Ну, а что касается распределения — решайте сами. По-моему, самое важное — провоз через границу.

— Если хотите знать мое мнение, — сказал Мартини, — то я против такого плана. Ведь это только предположение, что Риварес настолько ловок. В сущности, никто из нас не видел его на этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы.

— О, в этом можете не сомневаться! — перебил его Риккардо. — Он никогда головы не теряет!

— А кроме того, — продолжал Мартини, — хоть я и мало знаю Ривареса, но мне кажется, что ему нельзя доверять все наши партийные тайны. По-моему, он человек легкомысленный и любит рисоваться. Передать же контрабандную доставку литературы в руки одного человека — вещь очень серьезная. Что вы об этом думаете, Фабрицци?

— Если бы речь шла только о ваших возражениях, Мартини, я бы их отбросил, поскольку Овод обладает всеми качествами, о которых говорит Риккардо. Я уверен в его смелости, честности и самообладании. Не подлежит сомнению и то, что ему хорошо знакомы горы и горцы. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит туда только ради контрабандной переправы своих памфлетов. По-моему, у него есть и другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами — это только мое предположение. Мне кажется, что он тесно связан с одной из тамошних групп и, может быть, даже с самой опасной.

— С какой? С «Красными поясами»?

— Нет, с «Ножами».

— С «Ножами»? Но ведь это маленькая кучка бродяг, по большей части из крестьян, без всякого образования и без политического опыта.

— Не забывайте, что большинство членов этих групп — бывшие участники восстаний. Они поняли, что в открытой борьбе им не одолеть клерикалов, и перешли к тайным убийствам.

— А почему вы думаете, что Риварес в сношениях с ними?

— Это только мое предположение. Во всяком случае, прежде чем вверить ему доставку нашей литературы, надо все выяснить. Если Риварес вздумает вести оба дела сразу, он может сильно повредить нашей партии: просто погубит ее репутацию и ровно ничем не поможет. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас я хочу поделиться с вами вестями из Рима. Ходят слухи, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления.

## VI

Джемма и Овод молча шли по набережной. Лихорадочная болтливость Овода, по-видимому, истощилась. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Риккардо, и Джемму радовало его молчание. Ей всегда было тяжело в обществе Овода, а в этот день она чувствовала себя особенно неловко, потому что его странное поведение на собрании крайне смущало ее.

Вдруг он остановился и спросил:

— Вы не устали?

— Нет. А что?

— И не очень заняты сегодня вечером?

— Нет.

— Я хотел просить вас оказать мне особую милость — пойдемте гулять.

— Куда?

— Да просто так, куда вы захотите.

— Что это вам вздумалось?

Овод ответил не сразу:

— Это не так просто объяснить... Но я вас очень прошу!

Он поднял на нее глаза. Их выражение поразило Джемму.

— С вами происходит что-то странное, — мягко сказала она.

Овод выдернул цветок из своей бутоньерки и начал отрывать от него лепестки. Кого он ей напоминал? Такие же нервно-торопливые движения пальцев...

— Мне тяжело, — сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук. — Сегодня вечером я не хочу оставаться наедине с самим собой. Так пойдемте?

— Да, конечно. Но не лучше ли пойти ко мне?

— Нет, пообедаем в ресторане. Здесь недалеко, на площади Синьории. Не отказывайтесь, прошу вас, вы уже обещали!

Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не прикоснулся к нему, все время упорно молчал, крошил хлеб и теребил бахромку салфетки.

Джемма чувствовала себя очень неловко и начинала жалеть, что согласилась пойти с ним. Молчание становилось тягостным. Наконец

он поднял на нее глаза и сказал:

— Хотите посмотреть представление в цирке?

Джемма взглянула на него с удивлением. Почему он не может расстаться с этой мыслью о цирке?

— Видали вы когда-нибудь такие представления? — спросил он, раньше чем она успела ответить.

— Нет, не видала. Меня они не интересовали.

— Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений.

Бродячий цирк раскинул свою палатку за городскими воротами. Когда Овод и Джемма подошли к ней, невыносимый визг скрипок и барабанный бой возвестили о том, что представление началось.

Оно было весьма примитивно. Вся труппа состояла из нескольких клоунов, арлекинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обручи, горбуна, отпускавшего скучные и глупые шутки, и накрашенной Коломбины. Шутки не оскорбляли уха грубостью, но были избиты и плоски. Отпечаток пошлости лежал здесь на всем. Публика со свойственной тосканцам вежливостью смеялась и аплодировала; но больше всего ее забавляли выходки горбуна, в которых Джемма не находила ничего остроумного и забавного. Это было просто грубое и безобразное кривлянье. Зрители передразнивали его и, поднимая детей на плечи, показывали им «уродца».

— Синьор Риварес, неужели вам это нравится? — спросила Джемма, оборачиваясь к Оводу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке. — Мне кажется...

Джемма не договорила. Ни разу в жизни, разве только когда она стояла с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не приходилось ей видеть такого безграничного, безнадежного страдания на человеческом лице.

Но вот горбун, получив пинок от одного из клоунов, сделал сальто и кубарем выкатился с арены. Начался диалог между двумя клоунами, и Овод выпрямился, точно проснувшись.

— Пойдемте, — сказал он. — Или вы хотите остаться?

— Нет, давайте уйдем.

Они вышли из палатки и по зеленой лужайке пошли к реке. Несколько минут оба молчали.

— Ну, как вам понравилось представление? — спросил Овод.



— Довольно грустное зрелище, а подчас просто неприятное.

— Что же именно вам показалось неприятным?

— Да все эти гримасы и кривлянья. Они просто безобразны. В них нет ничего остроумного.

— Вы говорите о горбуне?

Помня, с какой болезненной чувствительностью Овод относится к своим физическим недостаткам, Джемма меньше всего хотела говорить об этой части представления. Но он сам навел ее на эту тему, и она подтвердила:

— Да, это мне совсем не понравилось.

— А ведь он забавлял публику больше всех.

— Да, и об этом остается только пожалеть.

— Почему? Не потому ли, что это рассчитано на грубые вкусы?

— Н-нет. Там все рассчитано на грубые вкусы, но тут примешивается еще и жестокость.

Он улыбнулся:

— Жестокость? По отношению к горбуну?

— Я хочу сказать... Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно. Для него эти кривлянья — такой же способ зарабатывать кусок хлеба, как прыжки для наездника и роль Коломбины для актрисы. Но когда смотришь на этого горбуна, становится тяжело на душе. Его роль унижительна — это насмешка над человеческим достоинством.

— Вряд ли арена так принижает его чувство собственного достоинства. Большинство из нас чем-то унижено.

— Да, но здесь... Вам это покажется, может быть, нелепым предрассудком, но для меня человеческое тело священно. Я не выношу, когда над ним издеваются и нарочно уродуют его.

— Человеческое тело?... А душа?

Он остановился и, опершись рукой о каменный парапет набережной, посмотрел Джемме прямо в глаза.

— Душа? — повторила она, тоже останавливаясь и с удивлением глядя на него.

Овод вскинул руки с неожиданной горячностью:

— Неужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа, живая, борющаяся человеческая душа, запрятанная в это скрюченное тело, душа, которая служит ему, как рабыня? Вы,

такая отзывчивая, жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками, а подумали ли вы когда-нибудь о несчастной душе, у которой нет даже этих пестрых тряпок, чтобы прикрыть свою страшную наготу? Подумайте, как она дрожит от холода, как на глазах у всех ее душит стыд, как терзает ее, точно бич, их смех, как жжет он ее, точно раскаленное железо! Подумайте, как она беспомощно озирается вокруг на горы, которые не хотят обрушиться на нее, на камни, которые не хотят прикрыть ее; она завидует даже крысам, потому что те могут заползти в нору и спрятаться там. И вспомните еще, что ведь душа немая, у нее нет голоса, она не может кричать. Она должна терпеть, терпеть и терпеть.... Впрочем, я говорю глупости... Почему же вы не смеетесь? У вас нет чувства юмора!

Джемма медленно повернулась и молча пошла по набережной. За весь этот вечер ей ни разу не пришло в голову, что волнение Овода может иметь связь с бродячим цирком, и теперь, когда эта внезапная вспышка озарила его внутреннюю жизнь, она не могла найти ни слова утешения, хотя сердце ее было переполнено жалостью к нему. Он шел рядом с ней, глядя на воду.

— Поймите, прошу вас, — заговорил он вдруг, вызываясь глядя на нее: — все то, что я сейчас говорил, — это просто фантазия. Я иной раз даю волю воображению, но не люблю, когда мои фантазии принимают всерьез.

Джемма ничего не ответила, и они молча продолжали путь. У одного из дворцов Овод быстро перешел дорогу и нагнулся над темным комком, лежавшим у решетки.

— Что с тобой, малыш? — спросил он с такой нежностью в голосе, какой Джемма у него еще не слыхала. — Почему ты не идешь домой?

Комок зашевелился, послышался тихий, стонущий голос. Джемма подошла и увидела ребенка лет шести, оборванного и грязного, скорчившегося на мостовой, как испуганный зверек. Овод стоял, наклонившись над ним, и гладил его по растрепанным волосам.

— Что случилось? — спросил он, нагибаясь еще ниже, чтобы расслышать невнятный ответ. — Нужно идти домой, в постель. Маленьким детям не место ночью на улице. Ты замерзнешь. Дай руку, вставай! Где ты живешь?

Он взял ребенка за руку, но тот пронзительно вскрикнул и опять упал на землю.

— Ну что, что с тобой? — Овод опустил рядом с ним на колени.  
— Ах, синьора, взгляните!

Плечо и куртка мальчика были покрыты кровью.

— Скажи мне, что с тобой? — ласково продолжал Овод. — Ты упал? Нет? Кто-нибудь побил тебя? Я так и думал. Кто же это?

— Дядя.

— Когда?

— Сегодня утром. Он был пьяный, а я... я...

— А ты попался ему под руку. Да? Не нужно попадаться под руку пьяным, дружок! Они этого не любят. Что же мы будем делать с этим крошечным существом, синьора? Ну, иди на свет, сынок, дай я посмотрю твое плечо. Обними меня за шею, не бойся. Ну, вот так.

Он взял мальчика на руки и, перенеся его через улицу, посадил на широкую каменную балюстраду. Потом вынул из кармана нож и ловко отрезал разорванный рукав, прислонив голову ребенка к своей груди; Джемма поддерживала пострадавшую руку. Плечо было все в синяках и ссадинах, на руке — глубокая рана.

— Досталось тебе, малыш! — сказал Овод, перевязывая ему рану носовым платком, чтобы она не загрязнилась от куртки. — Чем это он ударил?

— Лопатой. Я попросил у него сольдо,<sup>[70]</sup> хотел купить в лавке, на углу, немножко поленты,<sup>[71]</sup> а он ударил меня лопатой.

Овод вздрогнул.

— Да, — сказал он мягко, — это очень больно.

— Он меня ударил лопатой, а я убежал... я убежал, потому что он бил меня.

— И все это время бродил по улицам и ничего не ел?

Вместо ответа ребенок зарыдал. Овод снял его с балюстрады:

— Ну, не плачь, не плачь! Сейчас мы все уладим. Как бы только достать коляску? Боюсь, что все они у театра, — там сегодня большой съезд. Мне совестно таскать вас за собой, синьора, но...

— Я непременно пойду с вами. Вам может понадобится помощь. Вы донесете его? Наверное, тяжело?

— Ничего, донесу, не беспокойтесь.

У театра стояло несколько извозчичьих карет, но все они были заняты.

— Синьор Риварес, — сказала Джемма, — моя квартира тут близко. Понесем ребенка ко мне, и если вы не найдете коляски, я могу оставить его у себя на ночь.

Он быстро обернулся к ней:

— Вы это сделаете?

— Конечно.

Кэтти ждала хозяйку и, услышав о случившемся, побежала за горячей водой и всем, что нужно для перевязки. Овод усадил ребенка на стул, опустился рядом с ним на колени и, быстро сняв с него лохмотья, очень осторожно и ловко промыл и перевязал ему рану. Когда Джемма вошла в комнату с подносом в руках, он уже успел искупать ребенка и завертывал его в теплое одеяло.

— Можно теперь покормить вашего пациента? — спросила она улыбаясь. — Я приготовила для него ужин.

Овод поднялся и собрал грязные лохмотья.

— Мы, кажется, наделали ужасный беспорядок в вашей комнате, — сказал он. — Это надо сжечь, а завтра я куплю ему новое платье. Нет ли у вас немного коньяку, синьора? Хорошо бы дать ему несколько глотков. Я же, если позволите, пойду вымыть руки.

Поев, ребенок тут же заснул на руках у Овода, прислонившись головой к его белоснежной сорочке. Джемма помогла Кэтти привести комнату в порядок и снова села к столу.

— Синьор Риварес, вам надо поесть перед уходом. Вы не притронулись к обеду, а теперь очень поздно.

— Я с удовольствием выпил бы чашку чаю по-английски. Но мне совестно беспокоить вас в такой поздний час.

— Какие пустяки! Положите ребенка на диван, а то вы устанете. Подождите только, я покрою подушки простыней. Что же вы думаете делать с ним?

— Завтра? Поищу, нет ли у него других родственников, кроме этого пьяного животного. Если нет, то придется отдать его в приют. А правильнее всего было бы привязать ему камень на шею и бросить в реку. Но это грозит неприятными последствиями для меня. Спит крепким сном! Ах, бедняга! Ведь он беззащитней котенка!

Когда Кэтти принесла поднос с чаем, мальчик раскрыл глаза и стал с удивлением оглядываться по сторонам. Увидев своего покровителя, он сполз с дивана и, путаясь в складках одеяла, заковылял к нему.

Малыш настолько оправился, что в нем проснулось любопытство; указывая на обезображенную левую руку, в которой Овод держал кусок пирожного, он спросил:

— Что это?

— Это? Пирожное. Тебе тоже захотелось? Нет, на сегодня довольно. Подожди до завтра!

— Нет, это! — Мальчик вытянул руку и дотронулся до обрубков пальцев и большого шрама на кисти Овода; тот положил пирожное на стол:

— Ах, вот о чем ты спрашиваешь! То же, что и у тебя на плече. Это сделал один человек, который был сильнее меня.

— Тебе было очень больно?

— Не помню. Не больнее, чем многое другое. Ну, а теперь отправляйся спать, сейчас уже поздно.

Когда коляска приехала, мальчик спал, и Овод осторожно, стараясь не разбудить, взял его на руки и снес вниз.

— Вы были сегодня моим добрым ангелом, — сказал он Джемме, останавливаясь у дверей, — но, конечно, это не помешает нам ссориться в будущем.

— Я совершенно не желаю ссориться с кем бы то ни было.

— А я желаю! Жизнь была бы невыносимой без ссор. Хорошая ссора — соль земли. Это даже лучше представлений в цирке.

Он тихо рассмеялся и сошел с лестницы, неся на руках спящего ребенка.

## VII

В первых числах января Мартини, разослав приглашения на ежемесячное собрание литературного комитета, получил от Овода лаконичную записку, нацарапанную карандашом: «Очень сожалею. Притти не могу». Мартини это рассердило, так как в повестке было указано: «Очень важно». Такое легкомысленное отношение к делу казалось ему почти дерзостью. Кроме того, в тот же день пришли еще три письма с очень дурными вестями, и вдобавок дул восточный ветер. По всем этим причинам Мартини был в очень плохом настроении, и когда доктор Риккардо спросил, пришел ли Риварес, Мартини ответил сердито:

— Нет. Он, наверное, нашел что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее — не хочет.

— Мартини, другого такого придиры, как вы, нет во всей Флоренции, — сказал с раздражением Галли. — Если человек вам не нравится, то все, что он делает, непременно дурно. Как может Риварес притти, если он болен?

— Кто вам сказал, что он болен?

— А вы разве не знаете? Он уже четвертый день не встает с постели.

— Что с ним?

— Не знаю. Из-за болезни он даже отложил свидание со мной, которое было назначено на четверг. А вчера, когда я зашел к нему, мне сказали, что он очень плохо себя чувствует и никого не может принять. Я думал, что при нем Риккардо.

— Нет, я ничего не знал. Сегодня же вечером зайду к нему и посмотрю, не надо ли ему чего-нибудь.

На другое утро Риккардо, бледный и усталый, появился в маленьком кабинете Джеммы. Она сидела у стола и монотонным голосом диктовала Мартини цифры, а он с лупой в одной руке и тонко очиненным карандашом в другой делал на странице книги едва видные пометки. Джемма предостерегающе подняла руку. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Риккардо опустил на кушетку и начал зевать, с трудом пересиливая дремоту.

— «Два, четыре; три, семь; шесть, один; три, пять; четыре, один», — с монотонностью автомата продолжала Джемма; — «восемь, четыре; семь, два; пять, один». Здесь кончается фраза, Цезаре.

Она воткнула булавку в бумагу на том месте, где остановилась, и повернулась к Риккардо:

— Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид! Вы нездоровы?

— Нет, здоров, только очень устал. Я провел ужасную ночь у Ривареса.

— У Ривареса?

— Да. Просидел около него до утра, а теперь надо идти в больницу. Я зашел к вам спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы мог побыть с ним эти несколько дней. Он в ужасном состоянии. Я, конечно, сделаю все, что могу. Но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет.

— А что с ним такое?

— Да чего только нет! Прежде всего...

— Прежде всего — вы завтракали?

— Да, благодарю вас. У него, несомненно, не в порядке нервы, но главная причина болезни — старая запущенная рана. Он в очень тяжелом состоянии. Рана, вероятно, получена во время войны в Южной Америке. Ее не залечили как следует: все было сделано на скорую руку. Удивительно, как он еще жив. В результате хроническое воспаление, которое периодически обостряется, и всякий пустяк может вызвать такой приступ.

— Это опасно?

— Н-нет... в таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд.

— Значит, у него сильные боли?

— Ужасные! Удивляюсь, как он их выносит. Мне пришлось дать ему ночью опиум. Вообще я не люблю давать опиум нервнобольным, но как-нибудь надо было облегчить боль.

— Значит, у него и нервы не в порядке?

— Да, конечно. Но сила воли у этого человека просто небывалая. Пока он не потерял сознания, его выдержка была поразительна. Но зато и задал же он мне работу к концу ночи! И как вы думаете: когда он заболел? Это тянется уже пять суток, а при нем ни души, если не

считать дуры-хозяйки, которая так крепко спит, что тут хоть дом рухнул, она все равно не проснется, а если и проснется, толку от нее будет мало.

Риккардо вынул часы и озабоченно посмотрел на них.

— Я опоздаю в больницу, но ничего не поделаешь. Придется младшему врачу начать обход без меня. Жалко, что мне не дали знать раньше: не следовало бы оставлять его одного ночью.

— Но почему же он не прислал сказать, что болен? — спросил Мартини. — Мы не бросили бы его в одиночестве, ему бы следовало это знать!

— И напрасно, доктор, вы не послали сегодня за кем-нибудь из нас, вместо того чтобы сидеть там самому, — сказала Джемма.

— Дорогая моя, я хотел было послать за Галли, но Риварес так вскипел при первом моем намеке, что я сейчас же отказался от этой мысли. А когда я спросил его, кого же он хочет, он вдруг закрыл руками лицо и сказал: «Не говорите им, они будут смеяться». Это у него навязчивая идея: ему кажется, будто люди над чем-то смеются. Я так и не понял — над чем. Он все время говорит по-испански. Но ведь больные часто несут бог знает что.

— Кто при нем теперь? — спросила Джемма.

— Никого, кроме хозяйки и ее служанки.

— Я пойду к нему, — сказал Мартини.

— Спасибо. А я загляну вечером. Вы найдете мой листок с наставлениями в ящике стола, что у большого окна, а опиум в другой комнате, на полке. Если опять начнутся боли, дайте ему еще одну дозу. И ни в коем случае не оставляйте склянку на виду, а то как бы у него не явилось искушение принять больше, чем следует.

Когда Мартини вошел в полутемную комнату, Овод быстро повернул голову, протянул ему пылающую руку и заговорил, тщетно пытаясь сохранить обычную небрежность тона:

— А, Мартини! Вы, наверное, сердитесь за корректуру? Не ругайте меня, что я пропустил собрание комитета: я не совсем здоров, и...

— Бог с ним, с комитетом! Я видел сейчас Риккардо и пришел узнать, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.

У Овода лицо словно окаменело.

— Это очень любезно с вашей стороны. Но вы напрасно беспокоились: я просто немножко расклеился.



— Я так и понял со слов Риккардо. Ведь он пробыл, у вас всю ночь?

Овод сердито закусил губу.

— Благодарю вас. Теперь я чувствую себя хорошо, и мне ничего не надо.

— Прекрасно! В таком случае, я посижу в другой комнате: может быть, вам приятнее быть одному. Я оставлю дверь полуоткрытой, чтобы вы могли позвать меня.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверю вас, мне ничего не надо. Вы только напрасно потеряете время...

— Бросьте эти глупости! — резко перебил его Мартини. — Зачем вы меня обманываете? Думаете, у меня нет глаз? Лежите спокойно и постарайтесь заснуть, если сможете.

Мартини вышел в соседнюю комнату и, оставив дверь открытой, стал читать. Вскоре он услышал, как больной беспокойно зашевелился. Он отложил книгу и стал прислушиваться. Некоторое время была тишина, потом опять начались беспокойные движения, послышалось учащенное, тяжелое дыхание, словно Риварес стиснул зубы, чтобы подавить стон. Мартини вернулся к нему:

— Может быть, нужно что-нибудь сделать, Риварес?

Ответа не последовало, и Мартини подошел к кровати.

Овод, бледный, как смерть, взглянул на него и молча покачал головой.

— Не дать ли вам еще опиума? Риккардо говорил, что можно принять, если боли очень усилятся.

— Нет, благодарю. Я еще могу терпеть. Потом может быть хуже...

Мартини пожал плечами и сел у кровати. В течение часа, показавшегося ему бесконечным, он молча наблюдал за больным, потом встал и принес опиум:

— Довольно, Риварес! Если вы еще можете терпеть, то я не могу. Надо принять опиум.

Не говоря ни слова, Овод принял лекарство. Потом отвернулся и закрыл глаза. Мартини снова сел. Дыхание больного постепенно становилось глубже и ровнее.

Овод был так измучен, что спал долго, не просыпаясь. Час проходил за часом, а он не шевелился. Днем и вечером Мартини не раз подходил к кровати и вглядывался в это неподвижное тело — кроме

дыхания, в нем не было никаких признаков жизни. Лицо было настолько лишено красок, что на Мартини вдруг напал страх. Что, если он дал ему слишком большую дозу опиума? Изуродованная левая рука Овода лежала поверх одеяла, и Мартини осторожно тронул ее, думая его разбудить. Расстегнутый рукав сполз к локтю, обнажив страшные шрамы, покрывавшие всю его руку.

— Представляете, какой вид имела эта рука, когда раны были еще свежи? — послышался сзади голос Риккардо.

— А, это вы наконец! Слушайте, Риккардо, да что, он все так и будет спать? Я дал ему опиум часов десять назад, и с тех пор он не шевельнул ни единым мускулом.

Риккардо наклонился и прислушался к дыханию Овода.

— Ничего, дышит ровно. Это просто от сильного переутомления после такой ночи. К утру приступ может повториться. Я надеюсь, кто-нибудь посидит около него?

— Галли будет дежурить. Он прислал сказать, что придет часов в десять.

— Теперь как раз около десяти... Ага, он просыпается! Позаботьтесь, чтобы бульон подали горячий. Спокойно, Риварес, спокойно! Не деритесь, я не епископ.

Овод вдруг приподнялся, глядя перед собой испуганными глазами.

— Мне выходить? — забормотал он по-испански. — Займите публику еще минутку. Я... А! Я не узнал вас, Риккардо. — Он оглядел комнату и провел рукой по лбу, как будто не понимая, что с ним происходит. — Мартини! Я думал, вы давно ушли! Я, должно быть, спал...

— Да еще как! Точно спящая красавица! Десять часов кряду! А теперь вам надо выпить бульону и заснуть опять.

— Десять часов! Мартини, неужели вы были здесь все время?

— Да. Я уже начинал бояться, не угостил ли я вас чересчур большой дозой опиума.

Овод лукаво взглянул на него:

— Не повезло вам на этот раз! А как спокойны и мирны были бы без меня ваши комитетские заседания! Чего вы, чорт возьми, хотите от меня, Риккардо? Ради бога, оставьте меня в покое! Терпеть, не могу врачей.

— Ладно, выпейте вот это, и вас оставят в покое. Через день-два я все-таки зайду и хорошенько осмотрю вас. Надеюсь, что самое худшее миновало: вы уже не так напоминаете теперь призрак смерти, явившийся на пир.

— Скоро я буду совсем здоров, благодарю вас... Кто это? Галли? Сегодня у меня, кажется, собрание всех граций...

— Я останусь около вас на ночь.

— Глупости! Мне никого не надо. Идите все по домам. Если даже приступ повторится, вы все равно не поможете: я не буду больше принимать опиум. Это хорошо один-два раза.

— Боюсь, что вы правы, — сказал Риккардо. — Но придерживаться этого решения не всегда легко.

Овод посмотрел на него и улыбнулся:

— Не бойтесь. Если б у меня была склонность к этому, я давно бы стал наркоманом.

— Во всяком случае, мы вас одного не оставим, сухо ответил Риккардо. — Пойдемте, Мартини. Спокойной ночи, Риварес! Я загляну завтра.

Мартини хотел выйти следом за ним; но в эту минуту Овод негромко окликнул его и протянул ему руку:

— Благодарю вас.

— Ну, что за глупости! Спите.

## VIII

Овод быстро поправлялся. В одно из своих посещений на следующей неделе Риккардо застал его уже на кушетке, облаченным в турецкий халат. С ним были Мартини и Галли. Овод захотел даже выйти на воздух, но Риккардо только рассмеялся и спросил, не лучше ли уж сразу предпринять прогулку до Фьезоле.

— Можете также нанести визит Грассини, — прибавил он сердито. — Я уверен, что синьора будет в восторге, особенно сейчас, когда вы так бледны и интересны.

Овод трагически всплеснул руками:

— Боже мой! А я об этом и не подумал! Она примет меня за итальянского мученика и будет разглагольствовать о патриотизме. Мне придется войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземелье и довольно плохо потом, клеили. Ей захочется узнать в точности мои ощущения. Вы думаете, она не поверит, Риккардо? Бьюсь об заклад, что она примет на веру самую дикую ложь, какую только можно придумать. Ставлю свой индийский кинжал против заспиртованного солитера из вашего кабинета. Соглашайтесь, условия выгодные.

— Спасибо, я не любитель смертоносного оружия.

— Солитер тоже смертоносен, только он далеко не так красив.

— Во всяком случае, друг мой, кинжал мне не нужен, а солитер нужен. Мартини, я должен бежать. Значит, этот беспокойный пациент остается на вашем попечении?

— Да. Но только до трех часов. С трех здесь посидит синьора Болла.

— Синьора Болла? — с отчаянием переспросил Овод. — Нет, Мартини, этого никогда не будет! Я не могу допустить, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Здесь ей не понравится.

— Давно ли вы стали так соблюдать приличия? — Спросил, смеясь, Риккардо. — Синьора Болла — наша главная сиделка. Она начала ухаживать за больными еще тогда, когда бегала в коротеньких платьицах. Лучшей сестры милосердия я не знаю. Ей здесь не понравится? Да вы, может быть, говорите о госпоже

Грассини? Мартини, если придет синьора Болла, для нее не надо оставлять никаких указаний. Боже мой, уже половина третьего! Мне пора.

— Ну, Риварес, примите-ка лекарство до ее прихода, — сказал Галли, подходя к нему со стаканом.

— К чорту лекарство!

Как и все выздоравливающие, Овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам.

— З-зачем вы пичкаете м-меня всякой дрянью, когда боли прошли?

— Именно затем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите так обессилеть, чтобы синьоре Болле пришлось давать вам опиум?

— М-милостивый государь! Если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую можно облегчить вашими дрянными л-лекарствами. От них столько же пользы, сколько от игрушечного насоса на пожаре. Впрочем, как хотите, дело ваше.

Он взял стакан левой рукой. Страшные шрамы на ней напомнили Галли о бывшем у них перед тем разговоре.

— Да, кстати, — спросил он, — где вы получили эти раны? На войне, вероятно?

— Я же только что рассказывал, что меня бросили в мрачное подземелье и...

— Знаю. Но это вариант для синьоры Грассини... Нет, в самом деле, в бразильскую войну?

— Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах... то тут, то там...

— А! Во время научной экспедиции? Бурное это было время в вашей жизни, должно быть?

— Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений, — небрежно сказал Овод. — И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных.

— Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений... разве только если на вас напали дикие звери. Например, эти шрамы на левой руке.

— А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, выстрелил...

Послышался стук в дверь.

— Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так отворите, пожалуйста... Вы очень добры, синьора... Извините, что я не встаю.

— И незачем вам вставать. Я к вам не с визитом. Я пришла пораньше, Чезаре: вы, наверное, торопитесь.

— Нет, у меня еще есть четверть часа. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно туда же?

— Осторожно, там яйца. Самые свежие; Кэтти купила их утром. А это рождественские розы для вас, синьор Риварес. Я знаю, вы любите цветы.

Она присела к столу и, подрезав стебли, поставила цветы в вазу.

— Риварес, вы начали рассказывать про пуму, — заговорил опять Галли. — Как же это было?

— Ах, да! Галли расспрашивал меня, синьора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так изуродована левая рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и когда я выстрелил, ружье дало осечку: оказывается, порох отсырел. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность, и вот результат.

— Нечего сказать, приятное приключение!

— Ну, не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно, но, в общем, жизнь была преинтересная. Охота на змей, например...

Он болтал, рассказывал случай за случаем — об аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о встречах с дикарями, об охоте на диких зверей. Галли слушал с увлечением, словно ребенок — сказку, и то и дело прерывал его вопросами. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычайное. Джемма достала из корзинки вязанье и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. В тоне всех этих рассказов ему слышались хвастливость и самодовольство. Несмотря на свое невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством — как сам он, Мартини, мог убедиться неделю тому назад, — ему решительно не нравился Овод, не нравились все его манеры, все его поступки.

— Какая чудесная жизнь! — вздохнул Галли с наивной завистью.

— Удивляюсь, как вы решились покинуть Бразилию. Какими скучными должны казаться после нее все другие страны!

— Лучше всего мне жилось, пожалуй, в Перу и в Эквадоре, — сказал Овод. — Вот где действительно великолепно! Правда, очень уж жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и условия жизни подчас очень суровы. Но красота природы превосходит всякое воображение.

— Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красоты природы, — сказал Галли. — Там человек может действительно сохранить свое человеческое достоинство, не то что в наших городах...

— Да, — согласился Овод, — но только...

Джемма отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вспыхнул и не кончил фразы.

— Неужели опять начинается приступ? — спросил тревожно Галли.

— Нет, ничего, не обращайтесь внимания. Ваши с-снадобья помогли, хоть я и п-проклинал их. Вы уже уходите, Мартини?

— Да. Идемте, Галли, а то опоздаем.

Джемма вышла за ними и скоро вернулась со стаканом гоголь-моголя.

— Выпейте, — сказала она мягко, но настойчиво и снова села за свое вязанье.

Овод кротко повиновался.

С полчаса оба молчали. Наконец он тихонько сказал:

— Синьора Болла!

Джемма взглянула на него. Он теребил пальцами бахрому пледа, которым была покрыта кушетка, и не подымал глаз.

— Скажите, вы не поверили моим рассказам?

— Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали, — спокойно ответила Джемма.

— Вы совершенно правы. Я все время лгал.

— И обо всем, что касалось войны?

— Обо всем вообще. Я никогда не участвовал в войне. А экспедиция... Приключения там бывали, и бóльшая часть тех, о которых я рассказывал, — действительно факты. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, и теперь я могу сознаться во всем остальном.

— Стоит ли тратить силы на сочинение таких небылиц? — спросила Джемма. — По-моему, нет.

— А что же мне было делать? Вы знаете вашу английскую поговорку: «Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать». Мне не доставляет ни малейшего удовольствия дурачить людей, но должен же я что-то ответить, когда меня спрашивают, каким образом я стал калекой. А уж если врать, так врать забавно. Вы видели, как Галли был доволен.

— Неужели вам важнее позабавить Галли, чем сказать правду?

— Правду... — Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку пледа. — Вы хотите, чтобы я сказал правду этим людям? Да лучше я себе язык отрежу! — И затем с какой-то неуклюжей и робкой порывистостью добавил: — Я еще никому не рассказывал правды, но вам, если хотите, расскажу.

Она молча опустила вязанье на колени. Было что-то очень трогательное в том, что этот черствый, скрытный человек решил довериться женщине, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал.

После долгого молчания Джемма взглянула на него. Овод полулежал, облокотившись на столик, стоявший возле кушетки, и прикрыв изувеченной рукой глаза. Пальцы этой руки нервно вздрагивали, на кисти, в том месте, где был шрам, четко бился пульс. Джемма подошла к кушетке и тихо окликнула его. Он вздрогнул и поднял голову.

— Я совсем з-забыл, — проговорил он извиняющимся тоном. — Я х-хотел рассказать вам о...

— О несчастном случае, когда вы сломали ногу. Но если вам тяжело об этом вспоминать...

— О несчастном случае? Но это не был несчастный случай! Нет. Меня просто избил кочергой.

Джемма смотрела на него в полном недоумении. Он откинул дрожащей рукой волосы со лба и посмотрел на нее с улыбкой:

— Может быть, вы присядете? Пожалуйста, придвиньте кресло поближе. К сожалению, я не могу сделать это сам. З-знаете, как вспомню об этом случае, невольно думается, какой бы я был драгоценной находкой для Риккардо, если бы ему пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные



кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, за исключением шеи.

— И вашего мужества, — мягко вставила Джемма. — Но, может быть, его и нельзя сломить?

Овод покачал головой.

— Нет, — сказал он, — мужество мое кое-как удалось починить потом, вместе со всем прочим, что от меня осталось. Но тогда оно было разбито, как чайная чашка. В том-то весь и ужас. Да, так я начал рассказывать о кочерге. Это было... дайте припомнить... лет тринадцать назад, в Лиме. Я говорил уже, что Перу прекрасная страна, но она не так уж приятна для тех, кто очутился на мели, как было со мной. Я побывал в Аргентине, потом в Чили. Бродил по всей стране, чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпарайзо матросом на судне, перевозившем скот. В самом городе мне не удалось найти работу, и я спустился к докам — решил попытать счастья там. Ну, конечно, во всех портовых городах есть трущобы, в которых собираются матросы. Здесь в конце концов я устроился в одном из игорных притонов. Я исполнял должность повара, подавал напитки гостям и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. Там меня кормили, я видел человеческие лица, слышал хоть какую-то человеческую речь. Вы, может быть, скажете, что радоваться было нечему, но незадолго перед тем я был болен желтой лихорадкой и долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и это вселило в меня ужас. И вот однажды ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал слишком буяннить. Он в этот день сошел на берег, проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Конечно, мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и окошел бы с голоду; но этот человек был вдвое сильнее меня: мне пошел тогда только двадцать второй год, и после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга.

Овод замолчал и взглянул украдкой на Джемму.

— Он, вероятно, хотел прикончить меня, но выполнил свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я смог вернуться к жизни.

— А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса?

Овод посмотрел на нее и расхохотался:

— Остальные! Игроки и обитатели притона? Как же вы не понимаете! Я был их слугой, их собственностью. Они окружили нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища. Там смотрят на подобные вещи как на забаву. Конечно, в том случае, если действующим лицом является кто-то другой.



Джемма содрогнулась:

— Чем же все это кончилось?

— Этого я вам не могу сказать. После такой переделки человек обычно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач, и по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали. Он починил меня кое-как. Риккардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я очнулся, одна старуха-туземка взяла меня к себе из христианского милосердия — не правда ли, странно звучит? Помню, как она бывало сидит, скорчившись, в углу хижины, курит трубку, сплевывает на пол и напевает что-то себе под нос. Старуха оказалась добрая, она все говорила, что у нее я могу умереть спокойно: никто мне не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудная это была работа — возвращаться к жизни, и теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпенье у этой старухи было поразительное... Я пробыл у нее... дай бог памяти... месяца четыре и все это время то бредил, то злился, как медведь с болячкой в ухе. Боль была, надо сказать, довольно сильная, а я человек, избалованный еще с детства.

— Что же было дальше?

— Дальше... кое-как поправился и уполз от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять гостеприимством бедной женщины. Нет, мне было не до этого. Я просто не мог больше выносить ее лачужку. Вы говорили о моем мужестве. Посмотрели бы на меня тогда! Приступы боли возобновлялись каждый вечер, как только начинало смеркаться. После полудня я обычно лежал один и следил, как солнце опускается все ниже и ниже... О, вам никогда этого не понять! Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат...

Последовала длинная пауза.

— Потом я пошел бродить по стране в надежде найти какую-нибудь работу. Остаться в Лиме не было никакой возможности. Я сошел бы с ума. Однако зачем мучить вас этой старой историей — в ней нет ничего занимательного.

Джемма подняла голову и посмотрела на него серьезным, глубоким взглядом.

— Не говорите так, прошу вас, — сказала она.

Овод закусил губу и оторвал еще одну бахромку от пледа.

— Значит, рассказывать дальше? — спросил он немного погодя.

— Если... если хотите... Боюсь, что эти воспоминания мучительны для вас.

— А вы думаете, я забываю об этом, когда молчу? Тогда еще хуже. Но меня мучают не сами воспоминания. Нет, страшно то, что я потерял тогда всякую власть над собой.

— Я не совсем понимаю...

— Мое мужество пришло к концу, и я оказался трусом.

— Но ведь есть предел всякому терпению!

— Да, и человек, который достиг этого предела, не знает, что с ним будет в следующий раз.

— Скажите, если можете, — нерешительно спросила Джемма, — каким образом вы в двадцать лет оказались заброшенным в такую даль?

— Очень просто. Дома, на родине, жизнь улыбалась мне, но я убежал оттуда.

— Почему?

Он засмеялся коротким, сухим смехом.

— Почему? Должно быть, потому, что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в очень богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты и засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня... Что с вами? Почему вы так вздрогнули?

— Ничего. Продолжайте, пожалуйста.

Я открыл, что меня оплели ложью. Открытие весьма обыкновенное, конечно, но, повторяю, я был молод, самонадеян и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил — будь что будет, и убежал в Южную Америку, без гроша в кармане, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всем, готовом. В результате я попал в настоящий ад, и это излечило меня от веры в ад воображаемый. Я уже был на самом дне... Так прошло пять лет, а потом экспедиция Дюпре вытащила меня на поверхность.

— Пять лет! Это ужасно! Разве у вас не было друзей?

— Друзей? — Он повернулся к ней с неожиданной яростью. — У меня никогда не было друзей...

Но через секунду словно устыдился своей вспышки и поспешил прибавить:

— Не принимайте все это так серьезно. Я, пожалуй, изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи: я был молод, силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не изуродовал меня... После этого я уже не мог найти работу. Удивительно, каким совершенным оружием может быть кочерга в умелых руках! А калеку, понятно, никто не наймет.

— Что же вы делали?

— Что мог. Одно время был на побегушках у негров, работавших на сахарных плантациях. Но надсмотрщики всегда прогоняли меня. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро, да и большие тяжести были мне не под силу. А кроме того, у меня то и дело повторялось воспаление, или как там называется эта проклятая болезнь... Через некоторое время с плантаций я переключился на серебряные рудники и пытался устроиться там. На рудниках было трудно: управляющие смеялись, как только я заговаривал о работе, а рудокопы буквально травили меня.

— За что?

— Такова уж, должно быть, человеческая натура. Они видели, что я могу отбиваться только одной рукой. Наконец мне это надоело, и я отправился бродяжничать в надежде, что подвернется какая-нибудь работа.

— Бродяжничать? С больной ногой?

Овод вдруг поднял на нее глаза, судорожно передохнув.

— Я... я голодал, — сказал он.

Джемма отвернулась от него и оперлась на руку подбородком.

После короткого молчания он заговорил снова, все больше и больше понижая голос:

— Ну, вот, я бродил и бродил без конца, до умопомрачения и все-таки ничего не нашел. Пробрался в Эквадор, но там оказалось еще хуже. Иногда перепадала паяльная работа — я довольно хороший лудильщик — или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что

меня нанимали вычистить свиной хлев, а иногда... да не стоит перечислять... И вот однажды...

Тонкая смуглая рука Овода вдруг сжалась в кулак, и Джемма, подняв голову, с тревогой взглянула ему в лицо. Оно было обращено к ней в профиль, и она увидела жилку на виске, бившуюся частыми неровными ударами. Джемма наклонилась и нежно взяла его за руку:

— Не надо дальше. Об этом даже говорить тяжело.

Он нерешительно посмотрел на ее руку, покачал головой и продолжал твердым голосом:

— И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните тот цирк, где мы были с вами? Так вот такой же, только еще хуже, еще вульгарнее. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошел к ним и попросил милостыни. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в обморок. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание. Меня внесли в палатку, дали мне коньяку, накормили, а на другое утро предложили мне...

Последовала пауза.

— Им нужен был горбун или вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками. Помните клоуна в цирке? Вот и я был таким же целых два года. Научился выделывать кое-какие трюки. Но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это исправили: мне приделали искусственный горб и постарались извлечь все, что было можно, из этой ноги и руки. А шутовской наряд довершал впечатление. Главная трудность заключалась в том, что я часто болел и не мог выходить на сцену. Если содержатель труппы бывал не в духе, он требовал, чтобы я все-таки участвовал в представлении.

Помню, один раз у меня были страшные боли. Я вышел на арену и упал в обморок. Когда я очнулся, вся публика столпилась вокруг меня, все кричали...

— Не надо! Я не могу больше слушать!.. Довольно, ради бога!.. — Джемма вскочила, зажав уши руками.

Овод замолчал и, подняв-голову, увидел слезы у нее на глазах.

— Чорт возьми! Какой я идиот! — сказал он вполголоса.

Джемма отошла к окну. Когда она обернулась, Овод, снова полулежал, облокотившись на столик и прикрыв глаза рукою.

Казалось, он забыл о ее присутствии. Джемма села возле него и после долгого молчания тихо заговорила:

— Я хочу вас спросить...

— Да? — сказал он, не двигаясь.

— Почему вы не перерезали себе горло?

Он посмотрел на нее с удивлением:

— Я не ожидал от вас такого вопроса. А как же мое дело? Кто бы выполнил его за меня?

— Ваше дело?.. Да, понимаю! Вы только что говорили о своей трусости. Но если, пройдя через все это, вы не забыли о стоящей перед вами цели, тогда вы самый мужественный человек, какого я встречала.

Он горячо сжал ей руку. Наступило молчание, которому, казалось, не будет конца.

Овод лежал с открытыми глазами, глядя в окно на заходящее солнце. Джемма опустила штору и закрыла ставни, чтобы он не мог видеть заката, а потом перешла к столику у другого окна и снова взялась за вязанье.

— Не зажечь ли лампу? — спросила она немного погодя.

Овод покачал головой.

Когда стемнело, Джемма свернула работу и положила ее в корзинку. Опустив руки на колени, она молча смотрела на неподвижную фигуру Овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое, самоуверенное выражение его лица и подчеркивал трагические складки у рта.

Джемма вспомнила вдруг каменный крест, поставленный ее отцом в память Артура, и надпись на нем:

«Все волны и бури прошли надо мной».

Целый час прошел в молчании. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажженной лампой, она остановилась в дверях, думая, что Овод заснул. Но как только свет лампы озарил его, он повернул к ней голову.

— Я сварила вам кофе, — сказала Джемма, опуская лампу на стол.

— Поставьте его куда-нибудь и, пожалуйста, подойдите ко мне.

Он взял обе ее руки в свои.

— Скажите мне, — тихо проговорил он: — приходилось ли вам страдать?



Джемма ничего не ответила ему, но голова ее поникла, и две крупные слезы упали на его руку.

— Говорите, — горячо зашептал он, сжимая ее пальцы, — говорите! Ведь я рассказал вам о всех моих страданиях.

— Да... Я была жестока с человеком, которого любила больше всех на свете.

Руки, сжимавшие ее пальцы, задрожали.

— Он был нашим товарищем, — продолжала Джемма, — а я поверила клевете на него, грубой, вопиющей лжи, придуманной полицейскими. Я ударила его по лицу, как предателя... Он ушел и утопился. Через два дня я узнала, что он был совершенно невиновен... Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших... Я охотно дала бы отрезать себе правую руку, если бы этим можно было исправить то, что сделано.

Опасный огонек сверкнул в глазах Овода.

Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы. Она испуганно отшатнулась от него.

— Не надо! — сказала она умоляющим тоном. — Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.

— А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?

— Тому, кого я убила... Ах, вон идет Цезаре! Наконец-то! Мне... мне надо итти.

\* \* \*

Войдя в комнату, Мартини застал Овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе, и он тихо и монотонно, словно не получая от этого никакого удовлетворения, сыпал проклятьями.

## IX

Несколько дней спустя Овод вошел в читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был еще очень бледен и хромал сильнее, чем всегда. Риккардо, сидевший за одним из соседних столов, поднял голову. Он любил Овода, но не выносил в нем одной черты — ожесточенности.

— Подготавливаете новое нападение на несчастного кардинала? — спросил Риккардо с досадой в голосе.

— Почему это вы, милейший, в-всегда приписываете людям з-злые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современном богословии.

— Тише, Риварес! Мы мешаем другим.

— Ну, так вернитесь к своей хирургии и предоставьте м-мне заниматься богословием. Я не м-мешаю вам выправлять с-сломанные кости, хотя знаю о них гораздо больше, чем вы.

И Овод погрузился в изучение тома проповедей. Один из библиотекарей подошел к нему:

— Синьор Риварес, если не ошибаюсь, вы были членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки. Помогите нам выйти из затруднения. Одна дама спрашивала отчеты этой экспедиции, а они как раз у переплетчика.

— Какие сведения ей нужны?

— Она хочет знать только, когда выехала экспедиция и когда она проходила через Эквадор.

— Экспедиция выехала из Парижа осенью 1837 года и прошла через Квито в апреле тридцать восьмого. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио<sup>[72]</sup> и вернулись в Париж летом 1841 года. Не нужны ли вашей читательнице даты отдельных открытий?

— Нет, спасибо. Это все, что ей требуется. Я записал даты... Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок синьоре Болле... Еще раз благодарю вас, синьор Риварес. Простите за беспокойство.

Нахмурившись, Овод откинулся на спинку стула. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать, когда экспедиция проходила через Эквадор?..

Джемма ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер в мае 1833-го. Пять лет...

Она взволнованно ходила по комнате. Последние ночи она плохо спала, и под глазами у нее были темные круги.

Пять лет... И потом он говорил о «богатом доме» и о ком-то, «кому он верил и кто его обманул»... Обманул его, и обман открылся...

Она остановилась и заломила руки над головой. Нет, это чистое безумие!.. Этого не может быть... А между тем как тщательно обыскали они тогда всю гавань!

Пять лет... И ему не было еще двадцати одного, когда тот матрос... Значит, он убежал из дому девятнадцати лет. Ведь он сказал: «полтора года»... А эти голубые глаза и эти нервные пальцы? И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет... Пять лет...

Если бы только знать наверное, что Артур утонул, если бы она видела его труп... Тогда эта старая рана зажила бы наконец и старое воспоминание перестало бы так мучить ее. И лет через двадцать она, может быть, привыкла бы оглядываться на свое прошлое без ужаса.

Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днем, год за годом упорно боролась она с демоном раскаяния. Она не переставала твердить себе, что работа ее — в будущем, старалась отгородиться от страшного призрака прошлого. Но изо дня в день, из года в год преследовал ее образ утопленника, уносимого в море, в сердце звучал горький вопль, который она не могла заглушить: «Артур погиб! Я убила его!» Порой ей казалось, что такое бремя слишком тяжело для ее плеч.

И, однако, Джемма отдала бы теперь половину жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Горькая мысль, что она убила Артура, стала привычной; ее душа слишком долго изнемогала под этой тяжестью, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а... Джемма опустила на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся жизнь ее была омрачена призраком его смерти! О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-либо худшее!

Медленно и безжалостно вспоминала Джемма весь ад его прошлой жизни. И так ярко предстал этот ад в ее воображении, словно она видела и испытала все это сама: дрожь беспомощной души, надругательства, ужас одиночества и муки горше смерти, не дающие покоя ни днем, ни ночью.

Так ясно видела она эту грязную хижину, как будто сама была там, как будто страдала с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в ужасном бродячем цирке...

Бродячий цирк... Отогнать от себя хотя бы эту мысль. Ведь так можно потерять рассудок!

Джемма выдвинула небольшой ящик письменного стола. Там у нее лежало несколько реликвий, которые она не могла заставить себя уничтожить. Она не любила сентиментальных пустяков и все-таки хранила кое-какие вещи: это была уступка той слабой стороне ее «я», которую Джемма всегда так упорно подавляла в себе. Она очень редко выдвигала этот ящик.

Вот они — первое письмо Джиованни, цветы, которые лежали в его мертвой руке, локон ее ребенка, увядший лист с могилы отца. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было десять лет, — единственный его портрет.

Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ настоящего Артура не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо! Нежные очертания рта, большие серьезные глаза, ангельская чистота выражения — все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И медленные слепящие слезы скрыли от нее портрет.

Как могла ей притти в голову подобная мысль! Разве не святотатство навязывать этому светлому далекому духу грязь и скорбь жизни? Видно, боги любили его и дали ему умереть молодым. В тысячу раз лучше перейти в небытие, чем остаться жить и превратиться в Овода, в этого Овода с его безукоризненными галстуками, сомнительными островами и язвительным языком. Нет, нет! Это страшный плод ее воображения. Она ранит себе сердце пустыми выдумками — Артур мертв!

— Можно войти? — спросил мягкий голос у двери.

Джемма вздрогнула так сильно, что портрет выпал у нее из рук. Овод прошел, хромя, через всю комнату, поднял его и подал ей.

— Как вы меня испугали! — сказала она.

— П-простите, пожалуйста. Быть может, я вам помешал?

— Нет, я перебирала разные старые вещи.

С минуту Джемма колебалась, потом протянула ему миниатюру:

— Что вы скажете об этой головке?

И пока Овод рассматривал портрет, она следила за ним так напряженно, точно вся ее жизнь зависела от выражения его лица. Но он только критически поднял брови и сказал:

— Трудную вы мне задали задачу. Портрет выцвел, а детские лица вообще читать нелегко. Но мне думается, что этот ребенок должен был стать несчастным человеком. И самое разумное, что он мог сделать, это остаться таким вот малышом.

— Почему?

— Посмотрите на линию нижней губы. Для таких натур с-страдание есть с-страдание, а неправда — неправда. В нашем мире нет места для таких людей. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своем деле.

— Портрет никого вам не напоминает?

Он еще пристальнее посмотрел на миниатюру.

— Да. Как странно!.. Да, конечно, очень похож.

— На кого?

— На к-кардинала М-монтанелли. Быть может, у этого безупречного пастыря имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?

— Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.

— Того, которого вы убили?

Джемма невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это страшное слово!

— Да, того, которого я убила... если он действительно умер.

— Если?

Она не спускала глаз с его лица.

— Иногда я в этом сомневаюсь. Тела ведь так и не нашли. Может быть, он, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку.

— Будем надеяться, что нет. Вам было бы тяжело жить с такой мыслью. В свое время мне пришлось отправить не одного человека в царство теней, но если б я знал, что какое-то живое существо по моей вине отправилось в Южную Америку, я потерял бы сон, уверяю вас.

— Значит, вы думаете, — сказала Джемма, стиснув руки и подходя к нему, — что если бы этот человек не утонул... а пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал прошлое забвению? Вы думаете, что он не смог бы забыть? Ведь и мне это много стоило! Смотрите!

Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая серебряная полоса.

Наступило долгое молчание.

— Я думаю, — медленно сказал Овод, — что мертвым лучше оставаться мертвыми. Прошое трудно забыть. И будь я на месте вашего друга, я продолжал бы оставаться мертвым. Воскресший — это неприятный призрак.

Джемма положила портрет в ящик и заперла стол.

— Жестокая мысль, — сказала она. — Поговорим о чем-нибудь другом.

— Я пришел посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно — по секрету. Мне пришел в голову один план.

Джемма придвинула стул к столу и села.

— Что вы думаете о проектируемом законе относительно печати? — начал он ровным голосом, без обычного заикания.

— Что я думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше это, чем совсем ничего.

— Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые хотят здесь издавать?

— Да, я думала этим заняться. При выпуске новой газеты всегда бывает много технической работы: типография, распространение и...

— И долго вы намерены губить таким образом свои способности?

— Почему «губить»?

— Конечно, губить. Ведь для вас не секрет, что вы гораздо умнее большинства мужчин, с которыми вам приходится работать, а вы позволяете им превращать вас в какую-то подсобную силу. В умственном отношении Грассини и Галли просто школьники в сравнении с вами, а вы сидите и правите их статьи, точно заправский корректор.

— Во-первых, я не все время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы сильно преувеличиваете мои способности: они не так блестящи, как вам кажется.

— Я вовсе не считаю их блестящими, — спокойно ответил Овод, — у вас твердый и здравый ум, что гораздо важнее. На этих унылых заседаниях комитета вы первая замечаете ошибки ваших товарищей.

— Вы несправедливы к ним. У Мартини очень хорошая голова, а в способностях Фабрицци и Леги я не сомневаюсь. Что касается

Грассини, то он знает экономическую статистику Италии лучше всякого чиновника.

— Это еще не так много. Но бог с ними! Факт остается фактом: с вашими способностями вы могли бы выполнять более серьезную работу и играть более ответственную роль.

— Я вполне довольна своим положением. Моя работа не так уж важна, но ведь всякий делает, что может.

— Синьора Болла, нам с вами не стоит говорить друг другу, комплименты и скромничать. Ответьте мне прямо: считаете ли вы, что ваша теперешняя работа может выполняться людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму?

— Ну, если вы уж так настаиваете, то, пожалуй, это до известной степени верно.

— Так почему же вы это допускаете?

Молчание.

— Почему вы это допускаете?

— Потому что я тут бессильна.

— Бессильны? Почему?

Она взглянула на него с упреком:

— Это нехорошо... так настойчиво требовать ответа.

— А все-таки вы мне ответите.

— Ну, хорошо. Потому, что моя жизнь разбита. У меня нет энергии взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только в труженицы, на партийную техническую работу. Ее я, по крайней мере, исполняю добросовестно, а ведь кто-нибудь должен ею заниматься.

— Да. Разумеется, кто-нибудь должен, но не один в тот же человек.

Я, кажется, только на это и способна,

Он бросил на нее загадочный взгляд из-под опущенных век. Джемма подняла голову:

— Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Бесполезно говорить со мной о работе, которую я могла бы делать. Я ее не сделаю теперь. Но я могу помочь вам обдумать ваш план. В чем он состоит?

— Вы начинаете с заявления, что бесполезно предлагать вам работу, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мне нужно, чтобы вы не только обдумали мой план, но и помогли его выполнить.

— Расскажите сначала, в чем дело, а потом поговорим.

— Прежде всего я хочу знать вот что: слышали вы что-нибудь о планах восстания в Венеции?

— Со времени амнистии ни о чем другом не говорят, как о предстоящих восстаниях, но я скептически отношусь к этому.

— Я тоже в большинстве случаев. Но сейчас речь идет о серьезных приготовлениях к восстанию против австрийцев. В Папской области молодежь тайно готовится перейти границу и примкнуть к восставшим в качестве добровольцев... Мне сообщают друзья из Романьи...

— Скажите, — прервала его Джемма, — вы вполне уверены, что на ваших друзей можно положиться?

— Вполне. Я знаю их лично и работал с ними.

— Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите мне мое недоверие, но я всегда немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от тайных организаций. Мне кажется, что привычка...

— Кто вам сказал, что я член какой-то тайной организации? — резко спросил он.

— Никто, я сама догадалась.

— А! — Овод откинулся на спинку стула и посмотрел на Джемму нахмурившись. — Вы всегда угадываете чужие тайны?

— Очень часто! Я довольно наблюдательна и умею устанавливать связь между фактами. Так что будьте осторожны со мной.

— Я ничего не имею против того, чтобы вы знали о моих делах, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не...

Джемма посмотрела на него полуудивленно, полуобиженно.

— Полагаю, что это излишний вопрос, — сказала она.

— Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам партии, быть может...

— Партия имеет дело с фактами, а не с моими догадками и фантазиями. Само собой разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила.

— Благодарю вас. Вы, быть может, угадали и то, к какой организации я принадлежу?

— Я надеюсь — не обижайтесь только за мою откровенность, вы ведь сами начали этот разговор, — я надеюсь, что это не «Ножи».

— Почему вы на это надеетесь?

— Потому что вы достойны лучшего.



— Мы всегда достойны лучшего. Вот вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом организации «Красные пояса». Там более крепкий народ, серьезнее относятся к своему делу.

— Под «делом» вы имеете в виду убийства?

— И их, между прочим. Нож очень полезная вещь, но лишь тогда, когда за ним стоит хорошо организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с той организацией. Они думают, что нож может устранить все трудности, и сильно ошибаются: кое-что устранить можно, но не все. Я уже сказал, что из Романьи в Венецию направляется много добровольцев. Мы еще не знаем, когда вспыхнет восстание. Быть может, не раньше осени или зимы. Но добровольцев в Апеннинах нужно вооружить, чтобы они по первому зову могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в Папскую область оружие и боевые припасы...

— Погодите минутку. Как можете вы работать с этими людьми? Революционеры в Венеции и Ломбардии стоят за нового папу. Они сторонники либеральных реформ и положительно относятся к прогрессивному церковному движению. Как можете вы, такой непримиримый антиклерикал, уживаться с ними?

Овод пожал плечами:

— Что мне до того, что они забавляются тряпичной куклой? Лишь бы делали свое дело! Да, конечно, они будут носиться с папой. Может ли это меня тревожить, если мы все же идем на восстание? Всякая палка годна для собаки и всякий боевой клич хорош, если им можно поднять народ на австрийцев.

— Чего же вы ждете от меня?

— Главным образом, чтобы вы помогли мне переправить оружие через границу.

— Но как я это сделаю?

— Вы сделаете это лучше всех. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и с доставкой предстоит немало затруднений. Ввозить через порты Папской области невозможно, значит придется доставлять в Тоскану, а оттуда переправлять через Апеннины.

— Но тогда у вас будет две границы вместо одной!

— Да, но все другие пути безнадежны. Ведь привезти большой контрабандный груз в неторговую гавань невозможно, а вы знаете, что в Чивита-Веккиа<sup>[73]</sup> заходят самое большее три парусные лодки да

какая-нибудь рыбацья шхуна. Если только мы получим наш груз в Тоскане, я берусь провезти его через границу Папской области. Мои товарищи знают там каждую горную тропинку, и у нас много мест, где можно прятать оружие. Груз должен притти морским путем в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связей с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть.

— Когда вам нужен окончательный ответ?

— Время не терпит, но я могу подождать два-три дня.

— Вы свободны в субботу вечером?

— Сейчас скажу... сегодня четверг... да, свободен.

— Ну, так приходите ко мне. Я все обдумаю за это время и дам вам окончательный ответ.

\* \* \*

В следующее воскресенье Джемма послала комитету флорентийской организации мадзинистов письмо, в котором сообщала, что намерена заняться одним делом политического характера и поэтому не сможет исполнять в течение нескольких месяцев ту работу, за которую до сих пор была ответственна перед партией.

В комитете ее письмо вызвало некоторое удивление, но возражать никто не стал. Джемму знали в партии как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг то имеет на это основательные Причины.

Мартини Джемма сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой «пограничной работе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом — ей не хотелось, чтобы между ними возникали недоразумения и тайны. Она считала себя обязанной показать, что доверяет ему. Мартини ничего не сказал ей, но Джемма поняла, что эта новость глубоко его огорчила.

Они сидели у нее на террасе, глядя на видневшийся вдали за красными крышами Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая, что служило у него явным признаком волнения. Несколько минут Джемма молча глядела на него.

— Чезаре, вас это очень беспокоило, — сказала она наконец. — Мне ужасно жаль, что вы так волнуетесь. Но я не могла поступить иначе.

— Меня смущает не дело, за которое вы беретесь, — ответил он мрачно. — Я ничего о нем не знаю и думаю, что раз вы соглашаетесь принять в нем участие, значит оно того заслуживает. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.

— Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала ближе. Овод далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.

— Весьма вероятно. — С минуту Мартини молча шагал по террасе, потом вдруг остановился. — Джемма, откажитесь! Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в его дела, чтобы не раскаиваться потом.

— Чезаре, — мягко сказала она, — вы сами не знаете, что говорите. Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению самостоятельно, хорошо все обдумав. Я знаю, что вы не любите Ривареса, но речь идет о политической работе, а не о личностях.

— Мадонна, откажитесь! Это опасный человек. Он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем... и он любит вас.

Она откинулась на спинку стула:

— Чезаре, как вы могли вообразить такую нелепость!

— Он любит вас, — повторил Мартини. — Прогоните его, мадонна!

— Чезаре, милый, я не могу прогнать его и не могу объяснить вам, почему. Мы связаны друг с другом... не по собственной воле.

— Если вы связаны, то мне больше нечего сказать, — ответил Мартини усталым голосом.

Он ушел, сославшись на неотложные дела, и в течение долгих часов бродил по улицам. Мир казался ему очень мрачным в тот вечер. Было у него единственное сокровище, и вот явился этот хитрец и украл его.

В середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма познакомила его там с одним пароходным агентом, либерально настроенным англичанином, которого она и ее муж знали еще в Англии. Он уже не раз оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их в трудную минуту деньгами, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийной переписки и тому подобное. Но все это делалось через Джемму, из дружбы, к ней.

Не нарушая партийной дисциплины, она могла пользоваться этим знакомством по своему усмотрению. Весь вопрос был в том, получится ли из этого что-нибудь. Одно дело — попросить дружески настроенного иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или спрятать в сейфе конторы какие-нибудь документы, и совсем другое — предложить ему перевезти контрабандой огнестрельное оружие для повстанцев. Джемма никак не надеялась на успех.

— Можно, конечно, попробовать, — сказала она Оводу, — но я не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если б вы пришли к Бэйли с моей рекомендацией и попросили пятьсот скуди,<sup>[74]</sup> отказа не было бы: он человек в высшей степени щедрый. Может одолжить в трудную минуту свой паспорт или спрятать у себя в подвале какого-нибудь беглеца. Но если вы заговорите с ним о ружьях, он удивится и примет нас обоих за сумасшедших.

— Но, может быть, он посоветует мне что-нибудь или сведет меня с кем-нибудь из матросов, — ответил Овод. — Во всяком случае, надо попытаться.

Через несколько дней, в конце месяца, он пришел к ней одетый менее тщательно, чем всегда, и Джемма сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.

— Наконец-то! А я уж начала бояться, не случилось ли с вами чего-нибудь.

— Я думал, что писать опасно, а раньше вернуться не мог.

— Вы только что приехали?

— Да, прямо с дилижанса. Я пришел сказать, что все улажено.

— Неужели Бэйли согласился помочь?

— Больше чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, транспорт, все решительно. Ружья будут спрятаны в тюках товаров и придут прямо из Англии. Его компаньон и близкий друг Вильямс соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, а

Бэйли протащит груз через таможеню в Ливорно. Потому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я поехал с ним до Генуи.

— Чтобы обсудить по дороге все дела?

— Да. И мы говорили до тех пор, пока меня не укачало.

— Вы страдаете морской болезнью? — быстро спросила Джемма, вспомнив, как мучился Артур, когда ее отец повез однажды их обоих кататься по морю.

— Совершенно не переношу моря, несмотря на то что мне много приходилось плавать. Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Очень славный малый, неглупый и заслуживающий полного доверия. Бэйли ему в этом отношении не уступает, и оба они умеют держать язык за зубами.

— Бэйли идет на большой риск, соглашаясь на такое дело.

— Так я ему и сказал, но он лишь мрачно посмотрел на меня и ответил: «А вам-то что?» Такой ответ вполне в его духе. Попадись он мне где-нибудь в Тимбукту, я бы подошел к нему и сказал: «Здравствуйте, англичанин!»

— Все-таки не понимаю, как они согласились! И особенно Вильямс — на него я просто не рассчитывала.

— Да, сначала он отказался наотрез, но не из страха, а потому, что считал все предприятие «неделовым». Но мне удалось переубедить его. А теперь займемся деталями.

## XI

— А не м-могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? В Бризигелле опасно.

— Каждая пядь земли в Романье опасна для вас; но в данный момент Бризигелла — самое надежное место.

— Почему?

— Сейчас объясню. Не поворачивайтесь лицом к этому человеку в синей куртке: он опасный субъект... Да, буря была ужасная. Я такой и не помню. Виноградники-то как побило!

Овод положил руки на стол и уткнулся в них головой, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший лишнее. Окинув быстрым взглядом комнату, опасный посетитель в синей куртке увидел лишь двух крестьян, толкующих об урожае за бутылкой вина, да сонного горца, опустившего голову на стол. Такую картину можно было часто наблюдать в кабачках маленьких деревушек вроде Марради, и обладатель синей куртки, решив, по-видимому, что здесь ничего интересного не услышишь, выпил залпом свое вино и перекочевал в другую комнату, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином, он поглядывал время от времени уголком глаза через открытую дверь туда, где те трое сидели за столом. Крестьяне продолжали потягивать вино и толковали о погоде на местном наречии, а Овод храпел, как человек, совесть которого чиста.

Наконец шпик убедился, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время.

Он уплатил, сколько с него причиталось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрел вдоль узкой улицы. Овод поднял голову, зевая и потягиваясь, и протер глаза рукавом полотняной блузы.

— Недурно у них налажена слежка, — сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал от лежавшего на столе каравая ломоть хлеба. — Очень они вас изводят, Микеле?

— Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду шпики. Даже в горах, где их раньше и не видывали, теперь то и дело встречаешь группы по три-четыре человека. Верно, Джино? Потому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе.

— Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничный город всегда полон шпииков.

— Лучше Бризигеллы ничего не придумаешь. Она кишит богомольцами со всех концов страны.

— Но Бризигелла им совсем не по пути.

— Она недалеко от дороги в Рим, и многие паломники делают небольшой крюк, чтобы послушать там обедню.

— Я не знал, что в Бризигелле есть что-нибудь особенно замечательное.

— А кардинал? Помните, он приезжал во Флоренцию в декабре прошлого года? Так это тот самый кардинал Монтанелли. Говорят он произвел там большое впечатление.

— Весьма вероятно. Но я не хожу слушать проповеди.

— Его считают святым.

— Как же он этого добился?

— Не знаю. Вероятно, потому, что раздает все, что получает, и живет, как приходский священник, на четыреста-пятьсот скуди в год.

— Мало того, — вступил в разговор тот, которого звали Джино: — кардинал не только оделяет всех деньгами — он все свое время отдает бедным, следит, чтобы за больными был хороший уход, выслушивает с утра до ночи жалобы и просьбы. Я не больше твоего люблю попов, Микеле, но монсиньор Монтанелли не похож на других кардиналов.

— Да, он скорее блаженный, чем плут! — сказал Микеле. — Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминикино думает итти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Народ охотно покупает эти вещи и просит кардинала прикоснуться к ним. А потом они вешают их на шею своим детям от дурного глаза.

— Подождите-ка минутку. Как же мне итти? Под видом паломника? Мой теперешний костюм мне очень нравится, но я знаю, что п-показываться в Бризигелле в том же самом обличье, как и здесь, нельзя. Если меня схватят, это б-будет уликой против вас.

— Никто вас не схватит. Мы припасли вам костюм, паспорт и все, что требуется.

— Какой же это костюм?

— Старика-богомольца из Испании — покаявшегося разбойника. В прошлом году в Анконе он заболел, и один из наших товарищей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. В знак благодарности он оставил нам свои бумаги. Теперь они вам пригодятся.

— П-покаявшийся разбойник? Как же быть с п-полицией?

— С этой стороны все обстоит благополучно. Старик отбыл свой срок каторги несколько лет тому назад и с тех пор ходит по святым местам, спасает душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции.

— Он совсем старый?

— Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а все остальные его приметы точка в точку совпадают с вашими. Он отставной солдат, хромот, на лице шрам, как у вас, по национальности испанец; если вам попадутся другие испанцы, вы сумеете объясниться с ними.

— Где же мы встретимся с Доминикино?

— Вы пристанете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. А в городе идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.

— Так он, значит, живет в-во дворце, н-несмотря на всю свою святость?

— Кардинал занимает одно крыло, остальная часть отведена им под больницу. Дождитесь, когда он выйдет и даст благословение паломникам; в эту минуту появится Доминикино со своей корзинкой и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» А вы ответите ему: «Я несчастный грешник». Тогда он поставит корзинку наземь и утрет лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольдо за четки.

— Тут мы и условимся, где можно поговорить?

— Да, пока народ будет глазеть на кардинала, он успеет назначить вам место встречи. Таков был наш план, но если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.

— Нет, нет, ваш план хорош. Смотрите только, чтобы борода и парик выглядели естественно.

\* \* \*



— Вы паломник, отец мой?

Овод, сидевший на ступеньках епископского дворца, поднял седую всклокоченную голову и хрипло, дрожащим голосом, коверкая слова, произнес условный ответ. Доминикино спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами. Никто в толпе крестьян и богомольцев, наполнявших рыночную площадь, не обращал на них внимания, но, осторожности ради, они начали между собой отрывочный разговор. Доминикино говорил на местном диалекте, а Овод — на ломаном итальянском с примесью испанских слов.

— Его преосвященство! Его преосвященство идет! — закричали стоявшие у дверей дворца. — Посторонитесь! Дорогу его преосвященству!

Овод и Доминикино встали.

— Вот вам, отец, — сказал Доминикино, положив в руку Овода небольшой, завернутый в бумагу образок, — возьмите это и помолитесь за меня, когда дойдете до Рима.

Овод сунул образок за пазуху и, обернувшись, посмотрел на кардинала, который в лиловой мантии и пунцовой шапке стоял на верхней ступени и благословлял народ.

Монтанелли медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поцеловать ему руку. Многие становились на колени и прижимали к губам край его мантии.

— Мир вам, дети мои!

Услышав этот ясный серебристый голос, Овод так низко наклонил голову, что седые волосы упали ему на лицо. Доминикино увидел, как посох паломника задрожал в его руке, и с восторгом подумал: «Вот актер!»

Женщина, стоявшая поблизости, нагнулась и подняла со ступенек своего ребенка.

— Пойдем, Чекко, — сказала она, — его преосвященство благословит тебя, как господь благословлял детей.

Овод сделал шаг вперед и остановился. Как тяжело! Все эти чужие люди — паломники, горцы — могут подходить к нему и говорить с ним... он коснется рукой детей. Может быть, он назовет этого крестьянского мальчика *capino*, как называл когда-то...

Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть всего этого. Если бы он мог забиться куда-нибудь в угол, заткнуть уши и ничего не слышать! Это выше человеческих сил... быть так близко, так близко от него, что можно протянуть руку и дотронуться ею до дорогой руки...

— Не зайдете ли вы погреться, друг мой? — сказал мягкий голос. — Вы, должно быть, продрогли.

Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не чувствовал, кроме тяжелого гула прихлынувшей к сердцу крови, которая, казалось, разорвет сейчас ему грудь; потом она отхлынула и щекочущей горячей волной разлилась по всему телу. Он поднял голову, и при виде его лица глубокий взгляд человека, стоявшего над ним, стал сострадательным и нежным.

— Отойдите немного, друзья, — сказал Монтанелли, обращаясь к толпе, — я хочу поговорить с ним.

Паломники медленно отступили, перешептываясь друг с другом, и Овод, сидевший неподвижно, стиснув губы и опустив глаза, почувствовал легкое прикосновение руки Монтанелли.

— У вас большое горе? Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Овод молча покачал головой.

— Вы паломник?

— Я несчастный грешник.

Случайное совпадение вопроса Монтанелли с паролем оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Он ответил машинально. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло ему плечо, и дрожь охватила его тело.

Кардинал еще ниже наклонился над ним:

— Быть может, вы хотите поговорить со мной с главу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам...

Овод решился взглянуть прямо в глаза Монтанелли. Самообладание возвращалось к нему.

— Нет, — сказал он, — мне теперь нельзя помочь.

Из толпы выступил полицейский.

— Простите, ваше преосвященство. Старик не в своем уме. Он совершенно безобиден, и бумаги у него в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.

— За тяжкое преступление, — повторил Овод, медленно кивая головой.

— Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше... Друг мой, тому, кто искренне раскаялся, всегда можно помочь. Не зайдете ли вы ко мне сегодня вечером?

— Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?

Вопрос прозвучал почти вызывающе, и Монтанелли вздрогнул и съежился, словно от холодного ветра.

— Да сохранит меня бог осудить вас, что бы вы ни сделали! — торжественно сказал он. — В его глазах все мы грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придете ко мне, я приму вас так, как молю его принять меня, когда наступит мой час.



---

Овод порывисто протянул руку:

— Слушайте, — сказал он. — И вы тоже слушайте, верующие! Если человек убил своего единственного сына — сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти его и костью от кости его, если ложью и обманом он завел его в ловушку, то может ли этот человек надеяться на что-нибудь на земле или в небесах? Я покаялся в грехе своем богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне господь мой: «довольно»? Чье благословение снимет с души моей его проклятие? Какое отпущение грехов загладит то, что я сделал?

В мертвой тишине все глядели на Монтанелли и видели, как вздымается и опускается крест на его груди. Он поднял наконец глаза и нетвердой рукой благословил народ.

— Господь всемилостив, — сказал он. — Сложите к престолу его бремя души вашей, ибо сказано: «Сёрдца разбитого и сокрушенного не отвергай».

Кардинал повернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу, чтобы поговорить с народом или взять на руки ребенка.

Вечером того же дня, следуя указаниям, написанным на бумажке, в которую был завернут образок, Овод отправился к условленному месту встречи. Это был дом местного врача — активного члена организации. Большинство заговорщиков были уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности.

— Мы очень рады снова увидеть вас, — сказал доктор, — но еще более порадуемся, когда вы отсюда уедете. Ваш приезд — дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?

— З-заметить-то, конечно, заметили, да не узнали. Доминикино все в-великолепно устроил. Где он, кстати?

— Сейчас придет. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?

— Дал благословение? Это бы еще ничего! — раздался у дверей голос Доминикино. — Риварес, у вас сюрпризов, как в рождественском пироге. Каким еще талантом вы нас удивите?

— В чем дело? — лениво спросил Овод.

Он полулежал на кушетке, куря сигару; на нем еще была одежда паломника, но парик и борода валялись рядом.

— Я и не подозревал, что вы такой актер. Никогда в жизни не видел такой великолепной игры! Вы тронули его преосвященство почти до слез.

— Как это было? Расскажите, Риварес.

Овод пожал плечами. Он был неразговорчив в этот вечер, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминикино. Когда тот рассказал о сцене, разыгравшейся утром на рынке, один молодой рабочий угрюмо проговорил:

— Вы, конечно, ловко все это проделали, да только я не вижу, какой кому прок от такого представления.

— А вот какой, — ответил Овод. — Я теперь могу расхаживать свободно и делать, что мне вздумается, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет заподозрить меня в чем-нибудь. Завтра весь город узнает о сегодняшнем происшествии, и при встрече со мной шпики будут думать: «Это сумасшедший Диэго, покаявшийся в грехах на площади». В этом есть большая выгода.

— Да, конечно! Но все-таки лучше было добиться этого, не обманывая кардинала. Он хороший человек, и не годится так разыгрывать его.

— Мне самому он показался человеком порядочным, — лениво согласился Овод.

— Глупости, Сандро! Нам здесь кардиналы не нужны, — сказал Доминикино. — И если бы монсиньор Монтанелли принял пост в Риме, который ему предлагали, Риваресу не пришлось бы обманывать его.

— Он не принял этого поста потому, что не хотел оставить свое здешнее дело.

— А может быть, потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбручини. Они имеют что-то против него, это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в такой богом забытой дыре, мы знаем, чем тут пахнет. Не правда ли, Риварес?

Овод пускал дым колечками.

— Может быть, виной этому р-разбитое и сокрушенное сердце, — сказал он, откинув голову и следя за колечками дыма. — А теперь приступим к делу, господа!

Собравшиеся принялись подробно обсуждать вопрос о контрабандной перевозке и хранении оружия. Овод слушал внимательно, прерывая время от времени спорящих резкими замечаниями по поводу какого-нибудь неточного сообщения или неосторожного плана. Когда все высказались, он внес несколько практических предложений, и большинство их было принято без споров. На этом собрание кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, лучше не засиживаться по вечерам, чтобы не привлечь внимания полиции.

Все разошлись вскоре после десяти часов. Доктор, Овод и Доминикино остались для обсуждения некоторых специальных вопросов.

Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикино взглянул на часы:

— Половина двенадцатого. Надо кончать, не то мы наткнемся на ночную стражу.

— В котором часу она обходит город? — спросил Овод.

— Около двенадцати. И я хотел бы вернуться домой к этому часу. Доброй ночи, Джордано. Пойдем вместе, Риварес?

— Нет, в одиночку безопаснее. Где мы увидимся?

— В Кагель-Болоньезе. Я еще не знаю, в каком обличье я туда явлюсь, но пароль вам известен. Вы завтра уходите отсюда?

Овод тщательно надевал перед зеркалом парик и бороду.

— Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболую и останусь лежать в пастушьей хижине. Оттуда пойду напрямик через горы и приду в Кагель-Болоньезу раньше вас. Доброй ночи!

Часы на соборной колокольне пробили двенадцать, когда Овод подошел к двери большого сарая, превращенного в место ночлега для богомольцев. На полу лежали неуклюжие человеческие фигуры; раздавался громкий храп, воздух в сарае был нестерпимо тяжелый. Овод вздрогнул от отвращения и попятился. Здесь все равно не заснуть! Лучше походить еще, а потом разыскать какой-нибудь навес или стог сена; там будет чище и спокойнее.

Была чудная ночь, и полная луна ярко сверкала в пурпурном небе. Овод бродил по улицам, с горечью вспоминая утреннюю сцену. Как жалел он теперь, что согласился встретиться с Доминикино в Бризигелле! Если бы знать сразу, что это опасно, выбрали бы другое место, и тогда он и Монтанелли были бы избавлены от этого ужасного, нелепого фарса.

Как падре изменился! А голос у него такой же, как в прежние дни, когда он любил называть его *carino*...

На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и Овод свернул в узкий, извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и вдруг очутился на соборной площади, у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста. Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, причетник забыл закрыть ее. Ведь службы в такой поздний час быть не может. А что, если войти туда и выспаться на скамье, вместо того чтобы возвращаться в душный сарай? Утром он осторожно выйдет из собора до прихода причетника. Да если даже его там и найдут, то, наверное, подумают, что сумасшедший Диэго молился где-нибудь в углу и оказался запертым.

Он постоял у двери прислушиваясь, потом вошел неслышной походкой, сохранившейся у него, несмотря на хромоту. Лунный свет вливался в окна и широкими полосами ложился на мраморный пол. Особенно ярко освещен был алтарь — там было светло, как днем. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнаженной головой и молитвенно сложенными руками.

Овод отступил в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли не увидел его? Это будет несомненно самым благоразумным, а может быть, и самым милосердным поступком.

А если подойти — что в этом плохого? Подойти поближе и взглянуть в лицо падре еще один раз; теперь вокруг них нет людей и незачем разыгрывать безобразную комедию, как утром. Быть может, ему больше не удастся увидеть падре! Он незаметно подкрадется и взглянет только один раз. А потом снова вернется к своему делу.

Держась в тени колонн, Овод осторожно подошел к решетке алтаря и остановился на мгновение у бокового входа, неподалеку от престола. Тень, падавшая от епископского кресла, была так велика, что скрыла его совершенно. Он присел в темноте и затаил дыхание.



— Мой бедный мальчик! О господи! Мой бедный мальчик!..

В этом прерывистом шопоте было столько отчаяния, что Овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжелые рыдания без слез, и Монтанелли заломил руки, словно изнемогая от физической боли.

Овод не думал, что падре так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью: «Стоит ли об этом беспокоиться! Его рана давно уже зажила». И вот после стольких лет он увидел эту рану, из которой все еще сочилась кровь. Как легко было бы вылечить ее теперь! Стоило только поднять руку, шагнуть к нему и сказать: «Падре, это я!»

А у Джеммы седая прядь волос. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти прошлое — пьяного матроса, сахарную плантацию, бродячий цирк! Какое страдание сравнишь с этим: хочешь простить, стремишься простить и знаешь, что это безнадежно, что простить нельзя.

Наконец Монтанелли встал, перекрестился и отошел от престола. Овод отступил еще дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал увидит его, услышит биение его сердца. Потом он облегченно вздохнул: Монтанелли прошел мимо — так близко, что лиловая мантия коснулась его щеки, и все-таки не увидел его.

Не увидел... О, что он сделал! Что он сделал! Последняя возможность — драгоценное мгновение, и он не воспользовался им. Овод вскочил и шагнул вперед, в освещенное пространство:

— Падре!

Звук собственного голоса, медленно затихшего под высокими сводами, наполнил его ужасом. Он снова отступил в тень. Монтанелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного ужаса глазами. Сколько длилось это молчание, Овод не мог сказать: может быть, мгновение, может быть, целую вечность. Вдруг он опомнился. Монтанелли покачнулся, как будто падая, и губы его беззвучно дрогнули.

— Артур, — послышался тихий шопот. — Да, вода глубока...

Овод шагнул вперед:

— Простите, ваше преосвященство, я думал, это кто-нибудь из здешних священников.

— А, это вы, паломник?

Самообладание вернулось к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на его руке Овод видел, что он все еще дрожит.

— Вам что-нибудь нужно, друг мой? Уже поздно, а собор на ночь запирается.

— Простите, ваше преосвященство. Дверь была открыта, и я зашел помолиться. Увидел священника, погруженного в молитву, и решил попросить его благословить вот это.

Он показал маленький оловянный крестик, купленный утром у Доминикино. Монтанелли взял его и, войдя в алтарь, положил на престол.

— Примите, сын мой, — сказал он, — и да успокоится душа ваша, ибо господь наш кроток и милосерд. Ступайте в Рим и испросите себе благословение слуги господня, святого отца. Мир вам!

Овод склонил голову, принимая благословение, потом медленно побрел к выходу.

— Подождите, — вдруг сказал Монтанелли. Он стоял, держась одной рукой за решетку алтаря. — Когда вы получите в Риме святое причастие, помолитесь за того, чье сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжело легла десница господня.

В голосе кардинала чувствовались слезы, и решимость Овода поколебалась. Еще мгновение, и он изменил бы себе. Но картина бродячего цирка снова всплыла в его памяти.

— Услышит ли господь молитву недостойного? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу его дар святой жизни, души незапятнанной и не страждущей от тайного позора...

Резким движением Монтанелли отвернулся.

— Я могу принести к престолу господню лишь одно, — сказал он: — свое разбитое сердце.

\* \* \*

Через несколько дней Овод вернулся во Флоренцию из Пистойи. Он пошел прежде всего на квартиру к Джемме, но не застал ее дома и, поручив передать, что зайдет на другой день утром, направился домой.

Войдя в кабинет, он опустился в кресло и в тяжелой тоске закрыл лицо руками.

У двери раздался жалобный визг Шайтана. Овод поднялся и пустил собаку. Шайтан, как всегда, бросился к нему с неистовым восторгом, но сразу понял, что хозяину не до него, и, ткнувшись холодным носом в его безжизненную руку, смиренно улегся на ковре, рядом с креслом.

Час спустя к дому Овода подошла Джемма. Она постучала в дверь, но на ее стук никто не ответил. Бианка, видя, что синьор Риварес не собирается обедать, ушла к соседней кухарке. Она не заперла двери и оставила свет в прихожей. Джемма подождала минуту-другую, потом решила войти; ей нужно было поговорить с Оводом о важных новостях, только что полученных от Бэйли.

Она постучала в дверь кабинета и услышала голос Овода:

— Вы можете уйти, Бианка. Мне ничего не нужно.

Джемма осторожно приоткрыла дверь. В комнате было совершенно темно, но лампа, стоявшая в коридоре, осветила Овода. Он сидел, свесив голову на грудь; у ног его, свернувшись, спала собака.

— Это я, — сказала Джемма.

Он вскочил ей навстречу:

— Джемма, Джемма! Как вы нужны мне!

И прежде чем она успела вымолвить слово, он упал к ее ногам и спрятал лицо в складках ее платья. По его телу пробегала дрожь, и это было страшнее слез...

Джемма стояла молча. Она ничем не могла помочь ему, ничем! Вот что горше всего! Она должна стоять рядом с ним, безучастно глядя на его горе... Она, которая с радостью умерла бы, чтобы избавить его от страданий! О, если бы склониться к нему, сжать его в объятиях, защитить его собственным телом от всех новых грозящих ему бед! Тогда он станет для нее снова Артуром, тогда для нее снова займется день, который разгонит все тени.

Нет, нет! Разве он сможет когда-нибудь забыть? И разве не она сама толкнула его в ад, сама, своей рукой?

И Джемма упустила мгновение. Овод быстро поднялся и сел к столу, закрыв глаза рукой и кусая губы так сильно, словно хотел прокусить их насквозь.

Потом он поднял голову и сказал уже спокойным голосом:

— Простите. Я, кажется, испугал Вас.

Джемма протянула ему руки.

— Друг мой, — сказала она, — разве теперь вы не можете довериться мне? Скажите, что вас так мучит?

— Это мои личные невзгоды. Зачем тревожить ими других!

— Выслушайте меня, — сказала Джемма, взяв его руки в свои и стараясь успокоить их конвульсивную дрожь. — Я не хотела касаться того, чего не вправе была касаться. Но вы сами по своей доброй воле стольким уже поделились со мной. Так доверьте мне и то небольшое, что осталось недосказанным, как доверили бы вашей сестре. Сохраните маску на лице, если так вам будет легче, но сбросьте ее со своей души, сбросьте ради самого себя!

Овод еще ниже опустил голову.

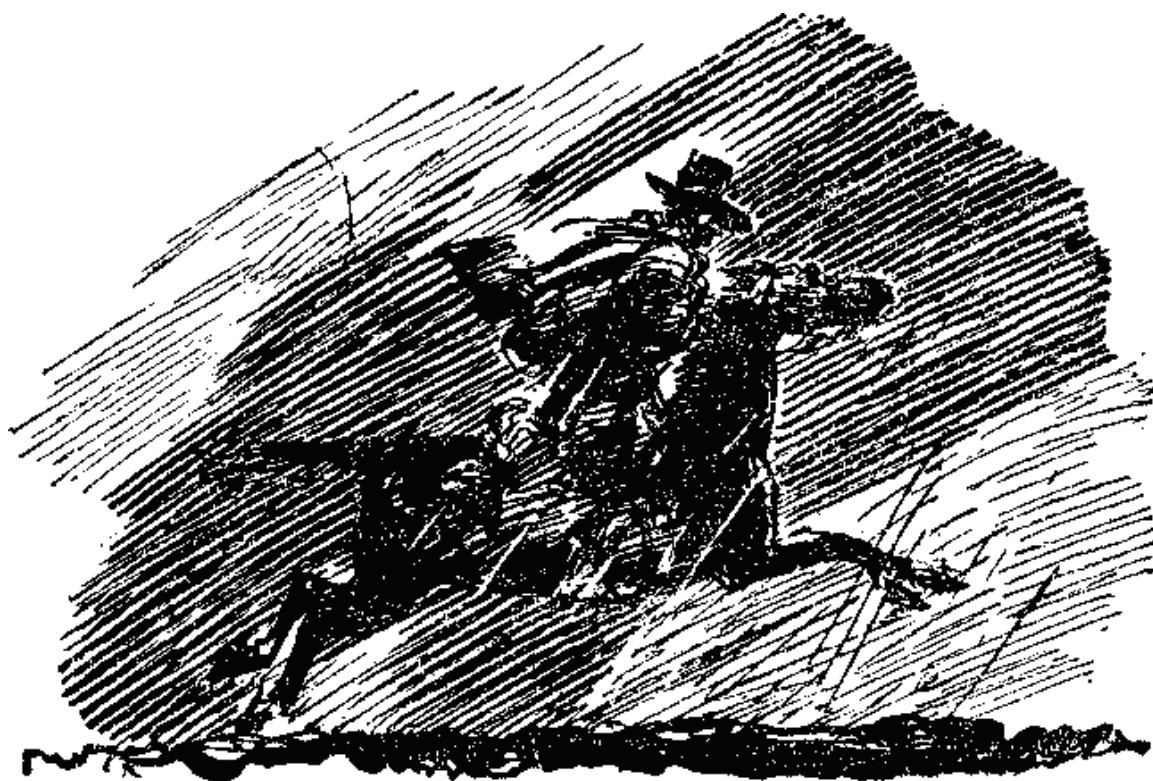
— Вам придется быть терпеливой со мной, — сказал он. — Из меня выйдет плохой брат. Но если бы вы только знали... Я чуть не лишился рассудка в последние дни. Будто снова пережил Южную Америку. Дьявол овладевает мной и... — Голос его прервался.

— Дайте же и мне долю участия в ваших страданиях, — прошептала Джемма.

Он прижался лбом к ее руке:

— Тяжка, десница господня!

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



# I

Следующие пять недель в жизни Овода и Джеммы были наполнены волнующей и напряженной работой. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы подумать о своих личных делах. Оружие было благополучно переправлено контрабандным путем на территорию Папской области. Но оставалась невыполненной еще более трудная и опасная задача: из тайных складов в горных пещерах и оврагах нужно было незаметно доставить его в местные центры, а оттуда развезти по деревням. Вся область кишела шпиками. Доминикино, которому Овод поручил организацию дела, прислал во Флоренцию письмо, настоятельно требуя либо помощи, либо отсрочки.

Овод настаивал, чтобы все было кончено к середине июня, и Доминикино приходил в отчаяние. Перевозка тяжелых грузов по плохим дорогам была нелегкой работой, тем более что необходимость сохранять все в тайне вызывала бесконечные проволочки.

Я между Сциллой и Харибдой<sup>[75]</sup>, —

писал он. —

Не смею торопиться из боязни быть выслеженным и не могу затягивать доставку, так как надо поспеть к сроку. Пришлите мне дельного помощника либо дайте знать венецианцам, что мы не будем готовы раньше первой недели июля.

Овод понес письмо Доминикино Джемме.

Она углубилась в чтение, а он уселся на полу, нахмутив брови и поглаживая Пашта против шерсти.

— Дело плохо, — сказала Джемма. — Вряд ли нам удастся убедить венецианцев подождать три недели.

— Конечно, не удастся. Что за нелепая мысль! Доминикино не мешало бы понять это. Не венецианцы должны приспособливаться к нам, а мы — к ним.

— Нельзя, однако, и осуждать Доминикино: он, очевидно, старается изо всех сил, но не может сделать невозможное.

— Да, вина тут, конечно, не его. Вся беда в том, что там один человек, а не два. Один должен охранять склады, а другой — следить за перевозкой. Он совершенно прав: ему необходим дельный помощник.

— Но кого же мы ему дадим? Из Флоренции нам некого послать.

— В таком случае, я д-должен ехать сам.

Джемма откинулась на спинку стула и взглянула на Овода, нахмутив брови:

— Нет, это не годится. Это слишком рискованно.

— Придется все-таки рискнуть, если н-нет иного выхода.

— Так надо найти этот иной выход — вот и все. Вам самому ехать нельзя, об этом нечего и думать.

Овод упрямо сжал губы:

— Н-не понимаю, почему?

— Вы поймете, если спокойно подумаете минутку. Со времени вашего возвращения прошло только пять недель. Полиция уже кое-что пронюхала о старике-паломнике и теперь рыщет в поисках его следов. Я знаю, как хорошо вы умеете менять свою внешность, но вспомните, скольким вы попались на глаза и под видом Диэго и под видом крестьянина. А вашей хромоты и шрама не скроешь.

— М-мало ли на свете хромых!

— Да, но в Романье не так уж много хромых со следом сабельного удара на щеке, с изуродованной левой рукой и с голубыми глазами при темных волосах.

— Глаза в счет не идут: я могу изменить цвет беладонной.

— А остальное? Нет, это невозможно! Отправиться туда сейчас при ваших приметах — это значит итти в ловушку. Вас немедленно схватят.

— Н-но кто-нибудь должен помочь Доминикино!

— Хороша будет помощь, если вы попадетесь в такую критическую минуту! Ваш арест равносителен провалу всего дела.

Но Овода нелегко было убедить, и спор их затянулся надолго, не приведя ни к какому определенному результату. Джемма только теперь начала понимать, каким неисчерпаемым запасом спокойного упорства обладает этот человек. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном, она, пожалуй, и сдалась бы. Но в этом вопросе нельзя было уступать: ради практической выгоды, какую могла принести поездка Овода, не

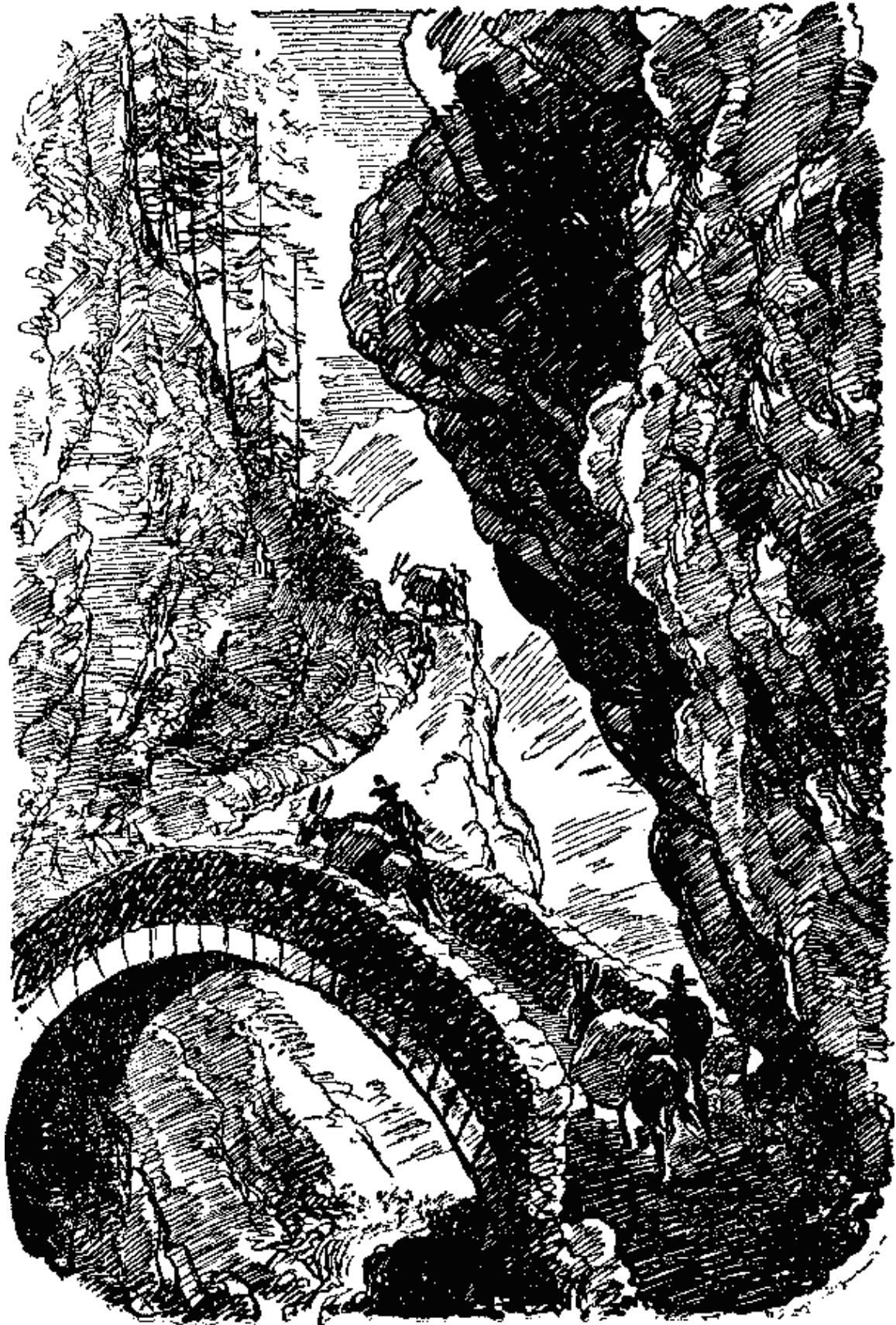
стоило, по ее мнению, подвергаться такому риску. Видя, что ее доводы не могут сломить его упрямую решимость, Джемма пустила в ход свой последний аргумент.

— Будем, во всяком случае, честны, — сказала она, — и назовем вещи своими именами. Не затруднения Доминикино заставляют вас так упорно настаивать на этой поездке, а ваша любовь к...

— Это неправда! — горячо прервал Овод. — Он для меня ничто. Я вовсе не стремился увидеть его... — И замолчал, прочтя на ее лице, что выдал себя.

Их взгляды встретились на мгновение; затем оба опустили глаза. Имя человека, о котором они подумали, осталось неизменным.





— Я не... не Доминикино хочу спасти, — пробормотал наконец Овод, зарываясь лицом в пушистую шерсть кота, — я... я понимаю, какая опасность угрожает всему делу, если никто не явится туда на подмогу.

Джемма не обратила внимания на эту жалкую увертку и продолжала, как будто ее и не прерывали:

— Так вот, надо подумать, как помочь Доминикино... В чем дело, Кэtti? Кто-нибудь пришел? Я занята.

— Сударыня, мисс Райт прислала пакет с посыльным.

В тщательно запечатанном пакете было письмо со штампом Папской области, адресованное на имя мисс Райт, но нераспечатанное. Старые школьные друзья Джеммы все еще жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко пересылались из осторожности по их адресу.

— Это условный знак Микеле, — сказала она, наскоро пробежав глазами письмо, в котором сообщались летние цены одного пансиона в Апеннинах, и указывая на два пятнышка в углу страницы: — Он пишет симпатическими чернилами. Реактив в третьем ящике письменного стола. Да, это он.

Овод положил письмо на стол и провел по страницам тоненькой кисточкой. Когда на бумаге выступил ярко-синей строчкой настоящий текст письма, он откинулся на спинку стула и засмеялся.

— В чем дело? — быстро спросила Джемма.

Он протянул ей письмо.

Доминикино арестован. Приезжайте немедленно.

Она опустилась на стул, не выпуская письма из рук, и в отчаянии посмотрела на Овода.

— Ну что ж... — иронически протянул он, — теперь вам ясно, что я должен ехать?

— Да, — ответила она со вздохом. — Я тоже поеду.

Он вздрогнул.

— Вы тоже? Но...

— Разумеется. Нехорошо, конечно, что во Флоренции никого не останется, но теперь все это не важно; главное — иметь лишнего человека там, на месте.

— Да там их сколько угодно найдется!

— Только не таких, которым можно безусловно доверять. Вы сами сказали, что нам нужны по крайней мере два надежных человека. Если Доминикино не мог справиться один, то вы тоже не справитесь. Для вас, как для человека скомпрометированного, конспиративная работа сопряжена с большими трудностями. Вам будет особенно нужен помощник. Вы думали работать с Доминикино, а теперь вместо него буду я.

Овод нахмурил брови и задумался.

— Да, вы правы, — сказал он наконец, — и чем скорей мы туда отправимся, тем лучше. Но нам нельзя выезжать вместе. Если я уеду сегодня вечером, то вы могли бы, пожалуй, выехать завтра после обеда, с почтовой каретой.

— Куда же мне направиться?

— Это надо обсудить. Мне лучше всего проехать прямо в Фаэнцу. Я выеду сегодня вечером в Сан-Лоренцо, там переоденусь и немедленно двинусь дальше.

— Ничего другого, пожалуй, не придумаешь, — сказала Джемма, озабоченно хмурясь. — Но все это очень рискованно — стремительный отъезд, переодевание в Бурго при помощи контрабандистов. Вам следовало бы иметь три полных дня, чтобы доехать до границы окольными путями и успеть запутать свои следы.

— Этого как раз нечего бояться, — с улыбкой ответил Овод. — Меня могут арестовать дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в Апеннинах меня не выдаст. А вот как вы переберетесь через границу, это я не совсем себе представляю.

— Ну, это дело нетрудное! Я возьму у Луизы Райт ее паспорт и поеду отдыхать в горы. Меня в Романье, никто не знает, а вас — каждый шпик.

— И каждый к-контрабандист! К счастью.

Джемма посмотрела на часы:

— Половина третьего. В вашем распоряжении всего несколько часов, если вы хотите выехать сегодня.

— Так я лучше сейчас же пойду домой, приготовлюсь и добуду хорошую лошадь. Поеду в Сан-Лоренцо верхом. Так будет безопаснее.

— Нанимать лошадь совсем не безопасно. Ее владелец...

— Я и не стану нанимать. Мне ее даст один человек, которому можно довериться. Он и раньше оказывал мне услуги. А через две недели кто-нибудь из пастухов приведет ее обратно. Так я вернусь сюда часов в пять или в половине шестого. А вы за это время разыщите М-мартини и объясните ему все.

— Мартини? — Джемма изумленно взглянула на него.

— Да. Нам придется посвятить его в наши дела. Если только вы не найдете кого-нибудь другого.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

— Нам нужно иметь здесь человека на случай каких-нибудь непредвиденных затруднений. А из всей здешней компании я больше всего доверяю Мартини. Риккардо тоже, конечно, сделал бы для нас все, что от него зависит, но Мартини надежнее. Вы, впрочем, знаете его лучше, чем я... Решайте.

— Я ничуть не сомневаюсь в том, что Мартини человек подходящий и надежный. Думаю также, что он согласится оказать нам всяческую помощь. Но...

Он понял сразу.

— Джемма, представьте себе, что ваш товарищ не обращается к вам за помощью в крайней нужде только потому, что боится причинить вам боль. По-вашему, это хорошо?

— Ну что ж, — сказала она после короткой паузы, — я сейчас же пошлю за ним Кэтти. А пока схожу к Луизе за паспортом. Она обещала дать мне его по первой моей просьбе. А как насчет денег? Не взять ли мне в банке?

— Нет, не теряйте на это времени. Денег у меня хватит. А потом, когда мои ресурсы истощатся, прибегнем к вашим. Значит, увидимся в половине шестого. Я вас застану?

— Да, конечно. Я вернусь гораздо раньше.

Овод пришел в шесть и застал Джемму и Мартини на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжелый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих. Мартини был необычайно молчалив и мрачен.

— Ну как, все готово? — спросила Джемма.

— Да. Вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понте-Россо в час ночи.

— Не слишком ли это поздно? Ведь вам надо попасть в Сан-Лоренцо до рассвета, прежде чем город проснется.

— Я успею. Лошадь хорошая, а мне не хочется, чтобы кто-нибудь заметил мой отъезд. К себе я больше не дернусь. Там дежурит шпик: думает, что я дома.

Как же вам удалось уйти незамеченным?

— Я вылез из кухонного окна в садик, а потом перелез через стену в фруктовый сад к соседям. Потому-то я так и запоздал. Нужно было как-нибудь ускользнуть от него. Хозяин лошади весь вечер будет сидеть в моем кабинете с зажженной лампой. Шпик увидит свет в окне и тень на шторе и будет уверен, что я дома и пишу.

— Вы, стало быть, останетесь здесь, пока не наступит время итти к заставе?

— Да. Я не хочу, чтобы меня видели на улице. Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что синьора Болла позволяет курить.

— Мне все равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кэтти приготовить обед.

Когда Джемма ушла, Мартини встал и принялся шагать по террасе, заложив руки за спину. Овод молча курил и смотрел, как за окном моросит дождь.

— Риварес! — сказал Мартини, остановившись прямо перед Оводом, но опустив глаза в землю. — Во что вы хотите втянуть ее?

Овод вынул изо рта сигару и пустил облако дыма.

— Она сама за себя решала, — сказал он. — Ее никто ни к чему не принуждал.

— Да, да, я знаю. Но скажите мне...

Он замолчал.

— Я скажу все, что могу.

— Я мало что знаю насчет ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьезная опасность?

— Вы хотите знать правду?

— Разумеется.

— Да, будет.

Мартини отвернулся и зашагал из угла в угол. Потом спясть остановился:

— Еще один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если хотите ответить, то отвечайте честно: вы любите ее?

Овод не спеша стряхнул пепел и продолжал молча курить.

— Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос?

— Нет, я просто думаю, почему вы об этом спрашиваете.

— Господи, боже мой! Да неужели вы сами не понимаете, почему?

— А, вот что! — Овод отложил сигару в сторону и пристально посмотрел в глаза Мартини. — Да, — мягко сказал он, — я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Я просто...

Голос его перешел в еле слышный шопот. Мартини подошел ближе:

— Вы просто?..

— Просто умру.

Овод смотрел прямо перед собой холодным, остановившимся взглядом, как будто был уже мертв. И когда он снова заговорил, голос его звучал безжизненно и ровно.

— Не тревожьте ее раньше времени, — сказал он. — Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как и я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь ее от ареста. Они славный народ, хотя и несколько грубоваты. А моя шея давно уже в петле, и, перейдя границу, я только затяну веревку.

Несколько минут они молча курили, потом принялись обсуждать детали предстоящей поездки. Когда Джемма пришла, они и виду не подали, насколько необычна была их беседа.

Пообедав, все трое приступили к деловому разговору. Когда пробило одиннадцать, Мартини встал и взялся за шляпу:

— Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Риварес. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме. Хочу кстати сделать небольшую рекогносцировку. Надо посмотреть, нет ли около дома шпииков.

— Вы проводите меня до заставы?

— Да. Четыре глаза вернее двух на тот случай, если за нами будут следить. К двенадцати я вернусь. Смотрите же, не уходите без меня. Я возьму ключ, Джемма, чтобы никого не будить звонком.

Она внимательно посмотрела на него и поняла, что он нарочно придумал этот предлог, чтобы оставить ее наедине с Оводом.

— Мы с вами поговорим завтра, — сказала она. — Времени хватит утром, когда я покончу со сборами.

— Да, времени будет вдоволь... Хотел еще задать вам два-три вопроса, Риварес, да, впрочем, потолкуем по дороге к заставе. Джемма, отошлите Кэтти спать и говорите по возможности тише. Итак, до двенадцати.

Он слегка кивнул им и с улыбкой вышел из комнаты, громко хлопнув наружной дверью; пусть соседи думают, что гость синьоры Боллы ушел.

Джемма пошла на кухню отпустить Кэтти, и вернулась, держа в руках поднос с черным кофе.

— Не хотите ли прилечь немного? — сказала она. — Вам ведь не придется спать эту ночь.

— Нет, что вы! Я посплю в Сан-Лоренцо, пока мне раздобудут костюм и грим.

— Ну, так выпейте чашку кофе. Постойте, я достану печенье.

Она стала на колени перед буфетом, а Овод подошел и вдруг наклонился к ней:

— Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский ирис! Да ведь это царское угощение!

Джемма подняла глаза и улыбнулась его восторгу:

— Вы тоже любите сладости? Я всегда держу их для Чезаре. Он радуется, как ребенок, всяким лакомствам.

— В с-самом деле? Ну, так вы ему з-завтра купите другие, а эти дайте мне с собой. Я п-положу ириски в карман, и они утешат меня за все потерянные радости жизни. Н-надеюсь, мне будет дозволено пососать ириску, когда меня поведут на виселицу.

— Подождите, я найду какую-нибудь коробочку — они такие липкие. А шоколадные тоже положить?

— Нет, эти я хочу есть теперь, с вами.

— Я не люблю шоколада. Ну, садитесь и перестаньте дурачиться. Весьма вероятно, что нам не представится случая толком поговорить, перед тем как один из нас будет убит и...

— Она н-не любит шоколада, — тихо пробормотал Овод. — Придется объедаться в одиночку. Последний ужин накануне казни, не так ли? Сегодня вы должны исполнять все мои капризы. Прежде всего

я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло, а так как мне разрешено прилечь, то я устроюсь вот здесь. Так будет удобнее.

Он лег на ковре у ног Джеммы и, облокотившись о кресло, посмотрел ей в лицо:

— Какая вы бледная! Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и не любите шоколада.

— Да будьте же серьезны хоть пять минут! Ведь дело идет о жизни и смерти.

— Даже и две минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того.

Он завладел обеими ее руками и поглаживал их кончиками пальцев.

— Не смотрите же так сурово, Минерва<sup>[76]</sup>. Еще минута, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись, у вас такая чудесная улыбка. Ну-ну, не бранитесь, дорогая! Давайте есть печенье, как двое примерных деток, и не будем из-за него ссориться — ведь завтра придет смерть.

Он взял с тарелки печенье и разделил его на две равные части, стараясь, чтобы глазурь разломилась как раз посередине.

— Пусть это будет для нас причастием, какое получают в церкви благонамеренные люди. «Примите и идите; сие есть тело мое»<sup>[77]</sup>. И мы должны в-выпить вина из одного стакана, да, да, вот так. «Сие творите в мое воспоминание...»

Джемма поставила стакан.

— Перестаньте, — сказала она с рыданием в голосе.

Овод взглянул на нее и снова взял ее руки в свои:

— Ну, полно. Давайте помолчим. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты. Молчите. Не надо говорить.

Он положил голову к ней на колени и закрыл рукой лицо. Джемма молча провела ладонью по его темным кудрям. Время шло, а они сидели, не двигаясь, не говоря ни слова.

— Друг мой, скоро двенадцать, — сказала наконец Джемма; Овод поднял голову. — Нам осталось лишь несколько минут. Мартини сейчас вернется, Быть может, мы никогда больше не увидимся, Неужели вам нечего сказать мне?

Овод медленно встал и отошел в другой конец комнаты. С минуту оба молчали.



— Я скажу вам только одно, — еле слышно проговорил он, — скажу вам...

Он замолчал и сел у окна, закрыв лицо руками.

— Наконец-то вы решили сжалиться надо мной, — тихо сказала Джемма.

— Меня жизнь тоже никогда не жалела. Я думал сначала, что вам все равно.

— Теперь вы этого не думаете?

Джемма, не дождавшись его ответа, подошла и стала рядом с ним.

— Скажите мне правду! — прошептала она. — Подумайте: если вас убьют, а меня нет, то я до конца дней своих так и не узнаю... так и не уверюсь, что...

Он взял ее руки и крепко сжал их.

— Если меня убьют... Видите ли, когда я уехал в Южную Америку... Ах, вот и Мартини!

Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик.

— Пунктуальны, как всегда, — м-минута в минуту! Вы ж-живой хронометр, Мартини. Это и есть ваш д-дорожный плащ?

— Да, тут еще кое-какие вещи. Я старался донести их сухими, но дождь льет как из ведра. Боюсь, что скверно вам будет ехать.

— Пустяки! Ну, как на улице — все спокойно?

— Да. Шпики, должно быть, ушли спать. Оно и неудивительно в такую скверную погоду. Это кофе, Джемма? Риваресу следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем выходить на дождь, не то простуда обеспечена.

— Это черный кофе. Очень крепкий. Я пойду вскипячу молоко.

Джемма пошла на кухню, крепко стиснув зубы, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, Овод был уже в плаще и застегивал кожаные гетры, принесенные Мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял в руки широкополую дорожную шляпу.

— Пора отправляться, Мартини. На всякий случай пойдем к заставе кружным путем. До свиданья, синьора. Я увижу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку, в-вот вам адрес.

Овод вырвал листок из записной книжки и написал на нем несколько слов карандашом.

— У меня он уже есть, — ответила Джемма безжизненно ровным голосом.

— Разве? Ну, в-все равно, возьмите на всякий случай. Идем, Мартини. Тише! Чтобы дверь не скрипнула.

Они осторожно спустились вниз. Когда наружная дверь закрылась за ними, Джемма вернулась в комнату и машинально развернула бумажку, которую дал ей Овод. Под адресом было написано:

Я скажу вам все при свидании.

## II

В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне — кто с домашней птицей и свиньями, кто с молочными продуктами, кто с гуртами полудикого горного скота. Люди толпами двигались взад и вперед по площади, смеясь, отпуская шутки, торгуясь с продавцами дешевых пряников, винных ягод и подсолнухов. Загорелые босоногие мальчишки валялись ничком на мостовой под горячими лучами солнца, а матери их сидели под деревьями с корзинами яиц и масла.

Монсиньор Монтанелли вышел на площадь пожелать народу доброго утра. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивавших ему пучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных на горных склонах. На любовь кардинала к диким цветам смотрели снисходительно, как на одну из слабостей, которые к лицу очень мудрым людям. Если бы кто-нибудь другой на его месте наполнял свой дом травами и растениями, над ним бы, наверное, смеялись, но «добрый кардинал» мог позволить себе такие невинные причуды.

Монтанелли проходил по площади, разговаривая с горцами. Он помнил имена и возраст их детей, все их невзгоды и беды; заботливо справлялся о корове, заболевшей на рождестве, о тряпичной кукле, попавшей под колесо в прошлый базарный день.

Когда он вернулся в свой дворец, торговля на базаре шла полным ходом. Хромой человек в синей блузе, со шрамом на левой щеке и шапкой черных волос, свисавших ему на глаза, подошел к одному из ларьков и, коверкая слова, спросил лимонаду.

— Вы, видно, нездешний? — поинтересовалась женщина, наливавшая ему лимонад.

— Да. Я с Корсики.

— Работы ищите?

— Да. Скоро сенокос. Один господин — у него под Равенной своя ферма — приезжал на-днях в Бастию и говорил мне, что около Равенны работы много.

— Надеюсь, что вам удастся пристроиться; только времена теперь тяжелые.

— А на Корсике, матушка, и того хуже. Что с нами, бедняками, будет, прямо не знаю.

— Вы один оттуда приехали?

— Нет, с товарищем. Вон с тем, что в красной рубашке. Эй, Паоло!

Услышав, что его зовут, Микеле заложил руки в карманы и ленивой походкой направился к ним. Он имел вид настоящего корсиканца, несмотря на рыжий парик, который, по его мнению, должен был сделать его неузнаваемым. Что же касается Овода, то он был само совершенство.

Они медленно шли по базарной площади. Микеле негромко насвистывал. Овод, сгибаясь под тяжестью узла, лежавшего у него на плече, волочил ноги, чтобы сделать менее заметной свою хромоту. Они ждали товарища, которому должны были передать важные сообщения.

— Вон Марконе верхом, у того угла, — вдруг прошептал Микеле.

Овод с узлом на плече потащился по направлению к всаднику.

— Не надо ли вам косаря, синьор? — спросил он, приложив руку к изорванному картузу, а потом тронув пальцами поводья.

Это был условный знак. Всадник, которого можно было по виду принять за управляющего именем, сошел с лошади и бросил поводья ей на шею.

— А что ты умеешь делать?

Овод мял в руках картуз.

— Косить траву, синьор, подрезать живую изгородь, — начал он и продолжал, не меняя голоса: — В час ночи у входа в круглую пещеру. Понадобятся две хорошие лошади и тележка. Я буду ждать в самой пещере... И копать умею... и...

— Ну что ж, хорошо. Мне косарь нужен. Ты работал когда-нибудь на стороне?

— Работал, синьор... Имейте в виду: надо вооружиться. Мы можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопасней. Если встретите шпики, не тратьте времени на пустые разговоры — стреляйте сразу... Уж так я рад стать на работу, синьор...

— Ну, еще бы! Только мне нужен хороший косарь... Нет у меня сегодня мелочи, старина.

Оборванный нищий подошел к ним и затянул жалобным, монотонным голосом:

— Во имя пресвятой девы, сжальтесь над несчастным слепцом... Уходите немедленно, едет конный отряд... Пресвятая царица небесная, дева непорочная... Ищут вас, Риварес; через две минуты они будут здесь... Да наградят вас святые угодники... Придется действовать напролом, шпики всюду. Незамеченными все равно не уйдете.

Марконе сунул Оводу поводья:

— Скорей! Выезжайте на мост, лошадь бросьте, а сами спрячьтесь в овраге. Мы все вооружены, задержим их минут на десять.

— Нет. Я не хочу подводить вас. Держитесь все вместе и стреляйте вслед за мной. Двигайтесь по направлению к лошадям — они привязаны у дворцового подъезда — и держите наготове ножи. Будем отступать с боем, а когда я брошу картуз наземь, режьте недоуздки — и по седлам, Может быть, доберемся до леса.

Разговор велся вполголоса и таким спокойным тоном, что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идет о чем-то более серьезном, чем сенокос.

Марконе взял свою кобылу под уздцы и повел ее к привязанным лошадям. Овод плелся рядом, а нищий шел за ним с протянутой рукой и не переставал жалобно голосить. Микеле, посвистывая, подошел к ним. Нищий успел сказать ему, а он, в свою очередь, предупредил трех крестьян, евших под деревом сырой лук. Те сейчас же поднялись и пошли за ним.

Таким образом, все семеро, не возбудив ничьего подозрения, стояли теперь у ступенек дворца. Каждый придерживал одной рукой спрятанный пистолет. Лошади, привязанные у подъезда, были в двух шагах от них.

— Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала, — сказал Овод тихим, но внятным голосом. — Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей — лошадям в ноги: тогда нас не смогут преследовать. Трое пусть стреляют, трое перезаряжают пистолеты. Если кто-нибудь станет между нами и лошадьми — убивайте. Я беру себе чалую. Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск и не останавливайтесь ни в коем случае.

— Едут, — сказал Микеле.

Продавцы и покупатели вдруг засуетились, и Овод обернулся, приняв наивный в глупо-изумленный вид. Пятнадцать вооруженных

всадников медленно выехали из переулка на базарную площадь. Они с трудом прокладывали себе дорогу в толпе, и если бы не шпики, расставленные на всех углах, все семь заговорщиков могли бы спокойно скрыться, пока толпа глазела на солдат.

Микеле придвинулся к Оводу:

— Не уйти ли нам теперь?

— Невозможно. Мы окружены шпиками, один из них уже узнал меня. Вот он послал сказать капитану. Наш единственный шанс — стрелять по лошадям.

— Где этот шпик?

— Я буду стрелять в него первого. Все готовы? Они уже очищают дорогу к нам. Сейчас кинутся.

— Прочь с дороги! — крикнул капитан. — Именем его святейшества приказываю расступиться!

Толпа раздалась, испуганная и удивленная, и солдаты ринулись на небольшую группу людей, стоявших у дворцового подъезда. Овод вытащил из-под блузы пистолет и выстрелил, но не в приближающийся отряд, а в шпика, который подбирался к лошадям. Тот упал с раздробленной ключицей. Почти в ту же секунду раздался один за другим еще шесть выстрелов, и заговорщики начали отступать к лошадям.

Одна из кавалерийских лошадей споткнулась и шарахнулась к сторону. Другая упала, громко заржав. В толпе, охваченной паникой, слышались крики, и, покрывая их, раздался властный голос офицера, командовавшего отрядом. Он поднялся на стременах и взмахнул саблей:

— Сюда! За мной!

И вдруг закачался в седле и упал навзничь. Овод снова выстрелил и не промахнулся. По мундиру капитана алыми ручейками полилась кровь, но яростным усилием воли он выпрямился, цепляясь за гриву коня, и злобно крикнул:

— Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес!

— Дайте пистолет, скорей! — крикнул Овод товарищам. — И бегите!

Он бросил наземь картуз. И вовремя: сабли разъяренных солдат сверкнули над самой его головой.

— Бросьте оружие!

Кардинал Монтанелли внезапно кинулся между сражающимися.  
Один из солдат в ужасе крикнул:

— Ваше преосвященство! Боже мой, вас убьют!

Но Монтанелли сделал еще шаг вперед и стал перед дулом пистолета Овода.





---

Пятеро заговорщиков уже были на конях и мчались вверх по крутой улице. Марконе только что вскочил в седло. Но прежде чем ускакать, он обернулся: не нужно ли помочь их предводителю? Чалая стояла близко. Еще миг — и все семеро были бы спасены. Но как только фигура в пунцовой кардинальской сутане выступила вперед, Овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все. Овода окружили и сшибли с ног; один из солдат ударом сабли выбил пистолет у него из руки. Марконе дал шпоры. Копыта кавалерийских лошадей грохотали в двух шагах от него. Задерживаться было бессмысленно. Повернувшись в седле на скаку и посылая последний выстрел в ближайшего преследователя, он увидел Овода. Лицо его было залито кровью. Лошади, солдаты и Шпики топтали его ногами. Марконе услышал яростные проклятья и торжествующие возгласы.

Монтанелли не видел, что произошло. Он отошел от ступенек и пытался успокоить объятых страхом людей. Но в то время как он наклонился над раненым шпиком, толпа испуганно всколыхнулась, и это заставило его поднять голову.

Солдаты пересекали площадь, волоча своего пленника за веревку, которой были связаны его руки. Лицо его посерело от боли, дыхание с хрипом вырывалось из груди, и все же он обернулся в сторону кардинала и, улыбнувшись побелевшими губами, прошептал:

— П-поздравляю, ваше преосвященство!..

\* \* \*

Пять дней спустя Мартини подъезжал к Форли. Джемма прислала ему по почте пачку печатных объявлений — условный знак, означавший, что события требуют его присутствия. Мартини вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину. Всю дорогу он не переставал твердить себе: нет оснований предполагать, что с Оводом что-то случилось. Разве можно придавать значение ребяческим фантазиям такого неуравновешенного человека? Но чем больше он убеждал себя в этом, тем крепче становилась его уверенность, что несчастье случилось именно с Оводом.

— Я догадываюсь, что произошло. Ривареса задержали? — сказал он, входя к Джемме.

— Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. При аресте отчаянно защищался и ранил начальника отряда и шпики.

— Вооруженное сопротивление. Дело плохо!

— Это несущественно. Он был так серьезно скомпрометирован, что лишний выстрел вряд ли что-нибудь изменит.

— Что же с ним сделают?

Бледное лицо Джеммы стало еще бледнее.

— Вряд ли нам стоит ждать, пока мы это узнаем, — сказала она.

— Вы думаете, что нам удастся освободить его?

— Мы должны это сделать.

Мартини отвернулся и начал насвистывать, заложив руки за спину. Джемма не мешала ему думать. Она сидела, откинув голову на спинку стула и глядя прямо перед собой невидящими глазами.

— Вы успели поговорить с ним? — спросил Мартини останавливаясь.

— Нет, мы должны были встретиться здесь на следующее утро.

— Да, помню. Где он сейчас?

— В крепости, под усиленной охраной и, как говорят, в кандалах.

Мартини пожал плечами:

— На всякие кандалы можно найти хороший напильник, если только Овод не ранен...

— Кажется, ранен, но насколько серьезно, мы не знаем. Да вот послушайте лучше Микеле: он был при аресте.

— Каким же образом уцелел Микеле? Неужели он убежал и оставил Ривареса на произвол судьбы?

— Это не его вина. Он отстреливался вместе с остальными и исполнил в точности все распоряжения. Никто ни в чем не отступал от них, за исключением самого Ривареса. Он как будто вдруг забыл, что надо делать, или допустил в последнюю минуту какую-то ошибку. Это просто необъяснимо. Подождите, я сейчас позову Микеле.

Джемма вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микеле и с широкоплечим горцем.

— Это Марконе, один из наших контрабандистов, — сказала она.

— Вы слышали о нем. Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микеле... Микеле, это Чезаре Мартини, о котором я

вам говорила. Расскажите ему сами все, что произошло на ваших глазах.

Микеле рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и отрядом.

— Я до сих пор не могу понять, как все это случилось, — сказал он под конец. — Никто бы из нас не уехал, если б мы могли подумать, что его схватят. Но распоряжения были даны совершенно точные, и нам в голову не пришло, что, бросив картуз на землю, Риварес останется на месте и позволит солдатам окружить себя. Он был уже рядом со своим конем, перерезал недоуздок у меня на глазах, и я собственноручно подал ему заряженный пистолет, прежде, чем вскочить в седло. Может быть, он оступился из-за своей хромоты — вот единственное, что я могу предположить. Но ведь в таком случае можно было бы выстрелить.

— Нет, дело не в этом, — перебил его Марконе. — Он и не пытался вскочить в седло. Я отъехал последним, потому что моя кобыла испугалась выстрелов и шарахнулась в сторону. Я напоследок оглянулся, чтобы проверить, все ли у него благополучно. Он отлично мог бы уйти, если бы не кардинал.

— А! — негромко вырвалось у Джеммы, а Мартини повторил в изумлении:

— Кардинал?

— Да, он кинулся прямо под дуло пистолета, чорт бы его побрал! Риварес, вероятно, испугался, его рука с пистолетом опустилась, а другую он поднял вот так, — Марконе приложил левую руку к глазам. — Тут-то они на него и набросились.

— Ничего не понимаю, — сказал Микеле. — Совсем не похоже на Ривареса — терять голову в минуту опасности.

— Может быть, он опустил пистолет из боязни убить безоружного? — сказал Мартини.

Микеле пожал плечами:

— Безоружным незачем совать нос туда, где дерутся. Война есть война. Если бы Риварес угостил пулей его преосвященство, вместо того чтоб дать себя поймать, как ручного кролика, на свете было бы одним честным человеком больше и одним попом меньше.

Он отвернулся, закусив усы. Еще минута, и гнев его прорвался бы слезами.

— Как бы там ни было, — сказал Мартини, — дело кончено, и обсуждать все это — значит терять даром время. Теперь перед нами стоит вопрос, как организовать побег. Полагаю, что все согласны взяться за это?

Микеле не счел нужным даже ответить на такой вопрос, а контрабандист сказал с усмешкой:

— Я убил бы родного брата, если б он не согласился.

— Прекрасно. Тогда приступим к делу. Прежде всего, есть у вас план крепости?

Джемма выдвинула ящик стола и достала оттуда несколько листов бумаги.

— У меня все планы. Вот первый этаж крепости. А это нижний и верхние этажи башен. Вот план укреплений. Тут дороги, ведущие в долину; а тут тропинки и тайные убежища в горах и подземные ходы.

— А вы знаете, в какой он башне?

— В восточной. В круглой камере с решетчатым окном. Я отметила ее на плане.

— Откуда вы получили эти сведения?

— От солдата крепостной стражи, по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джино, одного из наших.

— Скоро вы со всем этим справились!

— Нельзя терять времени. Джино уже ушел в Бризигеллу, а кое-какие планы были у нас раньше. Список тайных убежищ в горах составлен самим Риваресом; видите — его почерк.

— Что за люди в охране?

— Это еще не выяснено. Сверчок здесь не так давно и не знает своих товарищей.

— Нужно еще расспросить Джино, что за человек сам Сверчок. Известны ли намерения правительства? Где будет суд: в Бризигелле или в Равенне?

— Этого мы еще не знаем. Равенна — главный город легатства<sup>[78]</sup> и, по закону, важные дела должны разбираться только там, в трибунале. Но в Папской области с законом не особенно считаются. Его заменяют по прихоти того, кто в данную минуту стоит у власти.

— В Равенну Ривареса не повезут, — вмешался Микеле.

— Почему вы так думаете?

— Я в этом уверен. Полковник Феррари, комендант Бризигеллы, — дядя офицера, которого ранил Риварес. Это лютый зверь, он не уступит случая отомстить врагу.

— Вы думаете, он постарается задержать Ривареса в Бризигелле?

— Я думаю, что он постарается повесить его.

Мартини быстро взглянул на Джемму. Она была очень бледна, но ее лицо не изменилось при этих словах. Очевидно, эта мысль была не нова для нее.

— Нельзя, однако, обойтись без необходимых формальностей, — спокойно сказала она. — Полковник, вероятно, под каким-нибудь предлогом добьется военного суда на месте, а потом будет оправдываться, что это было сделано ради сохранения спокойствия в городе.

— Ну, а кардинал? Неужели он согласится на такое беззаконие?

— Военные дела ему не подведомственны.

— Но он пользуется огромным влиянием. Полковник, конечно, не отважится на такой шаг без его согласия.

— Ну, согласия-то он никогда не добьется, — вмешался Марконе. — Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Риварес в Бризигелле, положение еще не очень опасно — кардинал защитит любого арестованного. Больше всего я боюсь, чтобы Ривареса не перевезли в Равенну. Там ему наверняка конец.

— Этого нельзя допустить, — сказал Микеле. — Побег можно устроить в дороге. Ну, а уйти из здешней крепости будет потруднее.

— По-моему, бесполезно ждать, когда Ривареса повезут в Равенну, — сказала Джемма. — Мы должны попытаться освободить его в Бризигелле, и времени терять нельзя. Чезаре, давайте займемся планом крепости и подумаем, как организовать побег. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить ее до конца.

— Идем, Марконе, — сказал Микеле вставая, — пусть подумают. Мне нужно сходить сегодня в Фоньяно, и я хочу взять тебя с собой. Винченце не прислал нам патронов, а они должны были быть здесь еще вчера.

Когда они оба ушли, Мартини подошел к Джемме и молча протянул ей руку. Она на миг задержала в ней свои пальцы.

— Вы всегда были моим добрым другом, Чезаре, — сказала Джемма, — и всегда помогали мне в тяжелые минуты. А теперь

давайте поговорим о деле.

### III

— А я, ваше преосвященство, еще раз самым серьезным образом уверяю, что ваш отказ угрожает спокойствию города.

Полковник старался сохранить почтительный тон в разговоре с высшим сановником церкви, но в голосе его слышалось раздражение. Печень у полковника была не в порядке, жена разоряла его непомерными счетами, и за последние три недели его терпение подверглось жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное; недовольство зрело с каждым днем и принимало все более угрожающие размеры. По всей области возникали заговоры, всюду прятали оружие. Гарнизон Бризигеллы был слаб, и верность его более чем сомнительна. И ко всему тому кардинал, которого в разговоре с адъютантом полковник назвал как-то «воплощением ослиного упрямства», доводил его почти до отчаяния. А тут еще появился Овод — это воплощение зла.

Ранив любимого племянника полковника и его самого лучшего шпика, этот «лукавый испанский дьявол» теперь точно околдовал всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом. Вот уже три недели, как он сидит в крепости, и власти Бризигеллы не знают, что делать с этим сокровищем. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, какие только могли изобрести, и все-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Теперь уже начинают думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Однако поздно исправлять сделанную ошибку. Полковник, посылая легату доклад об аресте, просил у него как особой любезности разрешения лично вести следствие. Получив на свою просьбу милостивое согласие, он уже не мог отказаться от этого без унижительного признания, что противник оказался сильнее его.

Как и предвидели Джемма и Микеле, полковник решил добиться военного суда и таким путем выйти из затруднения. Упорный отказ кардинала Монтанелли согласиться на его план был последней каплей, переполнившей чашу терпения полковника.

— Ваше преосвященство, — сказал он, — если б вы знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести из-за этого человека, вы

иначе отнеслись бы к делу. Я понимаю, что вы возражаете против нарушения юридической процедуры, и уважаю вашу принципиальность, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер.

— Несправедливость, — возразил Монтанелли, — не может быть оправдана никаким исключительным случаем. Судить штатского человека тайным военным судом несправедливо и незаконно.

— Мы вынуждены пойти на это, ваше преосвященство! Заключенный явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в восстаниях, и военно-полевой суд, назначенный монсиньором Спинола, несомненно приговорил бы его к смертной казни или к каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор Риварес не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловредных тайных обществ. Имеются большие основания подозревать, что с его согласия, если не по прямому его наущению, убиты по меньшей мере три агента тайной полиции. Он был почти пойман на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Кроме того, оказал вооруженное сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. А теперь он — постоянная угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого достаточно, чтобы предать его военному суду.

— Что бы этот человек ни сделал, — ответил Монтанелли, — он имеет право быть судимым по закону.

— На обычную процедуру потребуется много времени, ваше преосвященство, а нам дорога каждая минута. Притом же я в постоянном страхе, что он убежит.

— Ваше дело усилить надзор.

— Я делаю все, что могу, ваше преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а этот человек точно околдовал всю стражу. В течение трех недель я четыре раза сменял всех приставленных к нему людей, налагал взыскания на солдат, но толку никакого. Я даже не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы на них. Идиоты влюблены в него, как в женщину.

— Это очень интересно. Должно быть, он необыкновенный человек.



— Необыкновенно хитрый дьявол. Простите, ваше преосвященство, но, право же, этот человек способен вывести из терпения даже святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести все допросы, потому что офицер, на котором лежала эта обязанность, не мог выдержать...

— То-есть как?..

— Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли меня, если бы увидели хоть раз, как Риварес держит себя на допросе. Можно подумать, что офицер, ведущий допрос, преступник, а он — судья.

— Но что он может сделать? Отказаться отвечать на ваши вопросы? Так ведь у него нет другого оружия, кроме молчания.

— Да еще языка, острого, как бритва. Все мы люди грешные, ваше преосвященство, кто из нас не совершал ошибок! И никому, конечно, не хочется, чтобы о них везде кричали. Такова человеческая натура. А тут вдруг выкапывают грешки, содеянные вами лет двадцать назад, и бросают их вам в лицо.

— Разве Риварес выдал какую-нибудь тайну офицера, который вел допрос?

— Да... видите ли... этот бедный малый, когда служил в кавалерии, наделал долгов и взял займы небольшую сумму из полковой кассы...

— Другими словами, украл доверенные ему общественные деньги?

— Разумеется, это было очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но друзья сейчас же внесли за него всю сумму, и дело таким образом замяли. Он из хорошей семьи и с тех пор ведет себя безупречно. Не могу понять, каким образом Риварес раскопал эту старую скандальную историю, но на первом же допросе он начал с того, что раскрыл ее, да еще в присутствии младшего офицера! И при этом с таким невинным видом, как будто читал молитву. Само собой разумеется, что теперь об этом говорят во всем легатстве. Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вам стало бы ясно... Риварес, конечно, ничего об этом не будет знать. Вы могли бы услышать все из...

Монтанелли повернулся к полковнику. Не часто устремлял он на людей такие взгляды!

— Я служитель церкви, — сказал он, — а не полицейский шпик. Подслушивание не входит в круг моих обязанностей.

— Я... я не хотел оскорбить вас...

— Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему хорошему привести не может. Если вы пришлете заключенного ко мне, я поговорю с ним.

— Позволю себе со всей почтительностью посоветовать вашему преосвященству не разговаривать с ним. Он совершенно неисправим. Безопаснее и разумнее поступиться на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. После того, что вы, ваше преосвященство, сказали, я боюсь настаивать на этом, но ведь в конце концов ответственность перед монсиньором легатом за спокойствие города придется нести мне...

— А я, — прервал его Монтанелли, — несу ответственность перед богом и его святейшеством за то, что в моей епархии не будет совершено ни одного противозаконного поступка. Раз вы настаиваете, полковник, я позволю себе сослаться на свою привилегию кардинала.

Я не допущу тайного военного суда в нашем городе в мирное время. Я приму заключенного без свидетелей завтра, в десять часов утра.

— Как вашему преосвященству будет угодно, — ответил полковник с мрачной почтительностью и ушел, ворча про себя: — Что касается упорства, то в этом они могут поспорить друг с другом.

Он никому не сказал о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключенного кандалы и вести его во дворец.

— Достаточно уж того, — заметил он в разговоре с раненым племянником, — что Монтанелли толкует закон по-своему. Не хватает только, чтобы солдаты сговорились с Риваресом и его друзьями и устроили ему побег в дороге.

Когда Овод под усиленным конвоем вошел в комнату, где Монтанелли сидел за столом, покрытым бумагами, ему вдруг вспомнился жаркий летний день, папка с проповедями, которые он перелистывал в кабинете, так похожем на этот. Ставни были закрыты, как и сейчас, и на улице, продавец фруктов кричал:

— Fragola! Fragola!

Гневно тряхнув головой, он откинул назад волосы, падавшие ему на глаза, и изобразил на лице улыбку.

Монтанелли поднял голову.

— Вы можете подождать в передней, — сказал он конвойным.

— Простите, ваше преосвященство, — начал сержант вполголоса, явно робея, — но полковник считает заключенного очень опасным и думает, что было бы лучше...

Глаза Монтанелли вспыхнули.

— Вы можете подождать в передней, — повторил он спокойным голосом, и перепуганный сержант, отдав честь и бормоча извинения, вышел с солдатами из кабинета.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал кардинал, когда дверь затворилась.

Овод сел, сохраняя молчание.

— Синьор Риварес, — начал Монтанелли после короткой паузы, — я хочу предложить вам несколько вопросов и буду очень благодарен, если вы ответите на них.

Овод улыбнулся:

— Мое г-главное занятие теперь — в-выслушивать предлагаемые мне вопросы.

— И не отвечать на них? Да, мне говорили об этом. Но те вопросы предлагались вам чиновниками, ведущими следствие. Они обязаны использовать ваши ответы как улики против вас...

— А в-вопросы вашего преосвященства?..

Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах. Кардинал сразу это понял. Но лицо его не потеряло своего серьезного и в то же время приветливого выражения.

— Мои вопросы, — сказал он, — останутся между нами, ответите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, промолчите. Но я надеюсь, что вы сделаете мне личное одолжение, хотя мы совершенно не знаем друг друга.

— Я в-весь к услугам вашего преосвященства.

Легкий поклон, сопровождавший эти слова, и выражение лица, с которым они были сказаны, даже у очень наглых людей отбили бы охоту просить одолжения.

— Так вот, вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия. Зачем оно вам понадобилось?

— У-б-бивать крыс.

— Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений?

— Н-некоторых из них.

Монтанелли откинулся на спинку стула и в течение нескольких секунд молча глядел на своего собеседника.

— Что это у вас на руке? — спросил он вдруг.

— Старые с-следы от зубов все тех же крыс.

— Простите, но я говорю про другую руку. Там — свежая рана.

Тонкая, гибкая рука была вся изранена. Овод поднял ее. На вспухшем запястье был большой кровоподтек.

— С-сушая безделица, как видите. Когда меня арестовали, по милости вашего преосвященства, — он снова сделал легкий поклон, — один из солдат наступил мне на руку.

Монтанелли взял его руку в свои и стал пристально рассматривать ее.

— С тех пор прошло уже три недели, почему же она в таком состоянии? — спросил он. — Вся воспалена...

— Возможно, что к-кандалы не пошли ей на пользу.

Кардинал нахмурился:

— Вам надели кандалы на свежую рану?

— Р-разумеется, ваше преосвященство. Свежие раны для того и существуют. От старых мало проку: они будут только ныть, а не жечь вас, как огнем.

Монтанелли снова взглянул на Овода пристальным, вопрошающим взглядом, потом встал и выдвинул ящик с хирургическими инструментами.

— Дайте мне руку, — сказал он.

Овод повиновался. Лицо его было неподвижно, словно высечено из камня. Монтанелли обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, такая работа была для него привычной.

— Я поговорю с тюремным начальством насчет кандалов, — сказал он. — А теперь я хочу задать вам еще один вопрос: что вы предполагаете делать дальше?

— От-т-вет очень прост, ваше преосвященство: убежать, если удастся. В противном случае — умереть.

— Почему же умереть?

— Потому что, если полковник не добьется расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это р-равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести каторгу.

Опершись рукой о стол, Монтанелли погрузился в размышления. Овод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза и наслаждался всем своим существом, не чувствуя на себе кандалов.

— Предположим, — снова начал Монтанелли, — что вам удастся бежать. Что вы станете делать тогда?

— Я уже сказал вашему преосвященству: убивать крыс.

— Убивать крыс. Следовательно, если бы я дал вам возможность бежать — предположим, что это в моей власти, — вы воспользовались бы свободой, чтобы способствовать насилию и кровопролитию, а не предотвращать их?

Овод поднял глаза на распятие, висевшее на стене:

— «Не мир, но меч...»<sup>[79]</sup> Как вы видите, я следую хорошему примеру. Впрочем, я предпочитаю пистолеты.

— Синьор Риварес, — сказал кардинал с непоколебимым спокойствием, — я не оскорблял вас, не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть джентльменом?

— А! Я н-не знал, что ваше преосвященство считает учтивость одной из высших христианских добродетелей.

— Прекратим этот разговор, — спокойно сказал Монтанелли. — Я хотел вас видеть главным образом вот зачем: как кардинал я имею право голоса при разрешении вопроса о вашей судьбе. Но я воспользуюсь своей привилегией только ради того, чтобы над вами не совершили насилия, поскольку это не будет необходимо, чтобы предотвратить возможность насилий с вашей стороны. Я послал за вами, потому что хочу знать, не жалуетесь ли вы на что-нибудь. Насчет кандалов я улажу, но, может быть, вы хотите пожаловаться не только на это? Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем сделать какой-нибудь вывод.

— Мне не на что жаловаться, ваше преосвященство. *A la guerre comme a la guerre!*<sup>[80]</sup> Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство погладит меня по головке за контрабандный ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Оно, естественно, не

пощадит меня. Что же касается того, какой я человек, то вы уже однажды выслушали мою весьма романтическую исповедь. Разве этого недостаточно? Или вы желаете в-выслушать ее еще раз?

— Я вас не понимаю, — холодно произнес Монтанелли и, взяв со стола карандаш, стал вертеть его в руках.

— Ваше преосвященство не забыли, конечно, старого паломника Диэго? — Овод вдруг затынул старческим голосом: — «Я несчастный грешник...»

Карандаш задрожал в руке Монтанелли.

— Это уж слишком! — сказал он вставая.

Овод тихо засмеялся, откинув голову, и стал следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по комнате.

— Синьор Риварес, — сказал Монтанелли, останавливаясь перед ним, — вы поступили со мной так, как ни один человек не поступил бы даже со своим злейшим врагом. Вы проникли в тайну моего горя и сделали себе игрушку и посмешище из страданий вашего ближнего. Еще раз прошу вас сказать мне: сделал я вам когда-нибудь зло? А если нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку?

Овод откинулся на спинку стула и улыбнулся своей холодной, непроницаемой улыбкой:

— Мне показалось з-забавным, ваше преосвященство, что вы так близко приняли к сердцу мои слова. И потом все, это нап-помнило мне немного бродячий цирк...

У Монтанелли побелели губы, он отвернулся и позвонил.

— Можете увести заключенного, — сказал он конвойным.

Когда они ушли, он сел к столу, весь дрожа от непривычного для него чувства негодования, и взялся было за кипу отчетов, присланных священником епархии, но вскоре оттолкнул ее от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод словно оставил в комнате свою страшную тень.

Усилием воли Монтанелли отогнал от себя это видение и принялся за работу. Весь день у него не было ни одной свободной минуты, и воспоминания не мучили его, но уснуть в ту ночь ему не удалось.

## IV

Вспышка гнева не помешала Монтанелли вспомнить о своем обещании. Он так энергично протестовал против кандалов, что злополучный полковник, окончательно потеряв голову, махнул на все рукой и велел расковать Овода.

— Откуда мне знать, — ворчал он, обращаясь к адъютанту, — чем еще его преосвященство будет недоволен? Если ему кажется, что надевать наручники жестоко, то, пожалуй, он скоро поведет войну против железных решеток или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями! В дни моей молодости преступники были преступниками. Так с ними и обращались. Никто тогда не считал, что изменник лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех этих негодяев.

— Не понимаю, чего он вообще вмешивается, — заметил адъютант. — Он не легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону...

— Стоит ли говорить о законе? Разве можно ждать уважения к нему, после того как святой отец открыл тюрьмы и спустил с цепи всю банду либеральных бездельников? Это чистое безумие! Понятно, монсиньор Монтанелли теперь важничает. При его святейшестве, покойном папе, он вел себя смиренно, а теперь стал самой что ни на есть первой персоной. Сразу угодил в любимцы и делает, что ему вздумается. Куда уж мне тягаться с ним! Кто знает, может быть у него есть тайная инструкция из Ватикана. Теперь все перевернулось вверх дном — нельзя даже предвидеть, что принесет с собою завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь...

И полковник уныло покачал головой. Трудно жить, когда кардиналы интересуются тюремной дисциплиной и говорят о «правах» политических преступников.

Овод, в свою очередь, вернулся в крепость в нервном возбуждении, близком к истерике. Свидание с Монтанелли почти исчерпало запас его сил.

Сказанная напоследок дерзость вырвалась в минуту полного отчаяния: необходимо было как-то оборвать свидание, которое могло

окончиться слезами, продлись оно еще пять минут.

Несколько часов спустя его вызвали к полковнику, но на все предлагаемые ему вопросы он отвечал лишь взрывами истерического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, перестал сдерживаться и дал волю своему языку, Овод захохотал еще громче. Несчастный полковник грозил своему непокорному узнику самыми страшными карами и в конце концов пришел к выводу, как когда-то Джеймс Бертон, что не стоит напрасно тратить время и нервы и убеждать в чем-нибудь человека, совершенно лишеного рассудка.

Овода отвели назад в камеру; он повалился на койку, охваченный невыразимой тоской, всегда приходившей на смену буйным вспышкам, и пролежал так до вечера, без движения, без единой мысли. Бурное волнение уступило место апатии. Горе давило на одеревяневшую душу, словно физически ощущаемый груз, и только. Да, в сущности, не все ли равно, чем все это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого живого существа, — это избавиться от невыносимых мук. Но придет ли облегчение со стороны или в нем просто умрет способность чувствовать, это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но, во всяком случае, он больше никогда не увидит падре.

Надзиратель принес ужин. Овод взглянул на него тяжелым, равнодушным взглядом:

— Который час?

— Шесть часов. Вот ужин, сударь.

Овод с отвращением посмотрел на дурно пахнущую, простывшую бурду и отвернулся. Он был не только разбит душой, но и болен физически, и вид пищи вызывал у него тошноту.

— Вы заболете, если не будете есть, — быстро проговорил солдат. — Съешьте хоть хлеба, это вас подбодрит.

Для большей убедительности он приподнял с тарелки промокший кусок. В Оводе сразу проснулся заговорщик: он понял, что в хлебе что-то спрятано.

— Оставьте, я съем потом, — небрежно сказал он; дверь была открыта, значит сержант, стоявший на лестнице, мог слышать каждое их слово.

Когда дверь снова заперли и Овод убедился, что никто не подсматривает в глазок, он взял оставленный ломоть хлеба и



осторожно раскрошил его. Внутри было то, что он надеялся найти: связка тонких напильников. На клочке бумаги, в которую они были завернуты, виднелось несколько слов. Он тщательно расправил ее и поднес к скупо освещавшей камеру лампочке. Письмо было написано так убористо и на такой тонкой бумаге, что прочесть его оказалось нелегко.

Дверь отперта. Ночь безлунная. Перепилите решетку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы, и другой случай, может быть, уже не представится.

Овод судорожно смял бумажку. Итак, все готово, и ему надо только перепилить оконную решетку. Какое счастье, что кандалы сняты! Не придется тратить на них время. Сколько в решетке прутьев? Два... четыре... и каждый надо перепилить в двух местах: итого восемь. Можно справиться за ночь, если не терять ни минуты. Как это Джемме и Мартини удалось устроить все так скоро? Достать ему одежду, паспорт, подыскать места, где можно спрятаться. Должно быть, работали, как ломовые лошади... А принят все-таки ее план. Он тихо засмеялся: как будто это важно — ее план или нет, был бы только хороший! Но в то же время ему было приятно, что Джемма первая напала на мысль использовать подземный ход, вместо того чтобы спускаться по веревочной лестнице, как предлагали контрабандисты. Ее план был сложнее, зато с ним не надо было подвергать риску жизнь часового, стоявшего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда его познакомили с обоими планами, он не колеблясь выбрал план Джеммы.

Согласно этому плану, часовой, по прозвищу Сверчок, должен был при первой возможности отпереть без ведома своих товарищей железную дверь, которая вела из тюремного двора к подземному ходу под валом, и потом снова повесить ключ на гвоздь в караульной. От Овода требовалось перепилить оконную решетку, разорвать рубашку на полосы, связать их и спуститься по этой веревке на широкую восточную стену двора. Потом проползти по стене, пользуясь для этого минутами, когда часовой будет глядеть в другую сторону, и ложась плашмя всякий раз, когда он повернется к нему.

На юго-восточном углу стены была небольшая башенка. Ее полуразрушенные стены густо обвивал плющ, много камней вывалилось и грудой лежало у стены. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься с башенки во двор, осторожно отворить незапертую дверь и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный тоннель. Несколько веков тому назад этот тоннель тайно соединял крепость с башней, стоявшей на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал.

Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно замаскированного хода в склоне горы, прорытого ими до самого тоннеля. Никто и не подозревал, что груды контрабандных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщетно обыскивали дома горцев, мрачно сверкавших на них глазами.

Овод должен был выйти этим ходом к склону горы, а оттуда под прикрытием темноты пробраться к тому уединенному месту, где его должны были ждать Мартини и один из контрабандистов. Труднее всего было открыть дверь после вечернего обхода. Такой случай мог представиться не каждый день. Спускаться из окна в очень светлую ночь тоже было невозможно — могли увидеть часовые. Сегодня у него есть все шансы на успех, нельзя упустить такой случай.

Овод сел на койку и стал есть хлеб. Он, по крайней мере, не вызывал в нем отвращения, как остальная тюремная пища, а поесть было надо, чтобы поддержать силы. Прилечь тоже не мешает, может быть удастся заснуть. Начать раньше десяти часов рискованно, а работа ночью предстоит трудная.

Итак, падре все-таки думал устроить ему побег! Как это похоже на него! Но возможно ли было согласиться принять его помощь? Что угодно, только не это! Если побег удастся, это будет делом его рук и рук его товарищей. Он не желает полагаться на поповские милости.

Как жарко! Наверное, будет гроза. Воздух такой тяжелый, душный. Он беспокойно повернулся на койке и подложил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытащил ее. Как она горит! И все старые раны начинают ныть... Почему это? Да нет, не может быть! Это просто от погоды, перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, а потом возьмется за напильник...

Восемь прутьев — и все такие толстые, крепкие! Сколько еще осталось? Вероятно, немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго, и потому у него так болит рука. И как болит! До самой кости! Неужели это от работы? И та же колющая, жгучая боль в ноге... А это почему?

Он вскочил на ноги. Нет, это не сон. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решетку, а она еще даже не тронута. Вот они, прутья, такие же крепкие, как и раньше. На далеких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.

Овод заглянул в глазок и убедившись, что никто за ним не следит, вынул один из напильников, спрятанных у него на груди.

\* \* \*

Нет, с ним ничего не случилось — ничего! Все это одно воображение. Боль в боку — от простуды, а может быть, желудок не в порядке. Да оно и неудивительно после трех недель отвратительной тюремной пищи и тюремной сырости. А ломота во всем теле и учащенный пульс — отчасти от нервного возбуждения, а отчасти от сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всему виной сидячая жизнь. Как это он не подумал об этом раньше! Надо присесть немного. Боль утихнет, и тогда он примется за работу. Через минуту-другую все пройдет.

Но когда он сел, ему стало еще хуже. Боль овладела всем телом, его лицо посерело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за дело. Надо стряхнуть с себя боль. Чувствовать или не чувствовать боль — зависит от усилия воли; он не хочет ее чувствовать, он заставит ее утихнуть.

Он поднялся с койки и сказал вслух отчетливым голосом:

— Я не болен. Мне некогда болеть. Я должен перепилить решетку. Я не намерен болеть. — И взялся за напильник.

Четверть одиннадцатого, половина, три четверти... Он пилит и пилит, и каждый раз, когда напильник, визжа, впивался в железо, ему казалось, что кто-то пилит его тело и мозг.

— Кто же сдастся первый, — сказал он сам себе, усмехнувшись: — я или решетка? — Потом стиснул зубы и продолжал пилить.

Половина двенадцатого. Он все еще пилил, хотя рука его распухла, одеревянела и с трудом держала напильник. Нет, отдышаться нельзя. Стоит только выпустить из рук проклятый инструмент, и уже не хватит мужества начать сызнова.

За дверью раздались шаги часового, и приклад его ружья ударился о косяк. Овод перестал пилить и, не выпуская напильника из рук, оглянулся. Неужели услышали? Какой-то шарик, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Он наклонился поднять его. Это была свернутая в комок бумажка.

\* \* \*

Так долго длился этот спуск, а черные волны захлестывали его со всех сторон. Как они клокотали!

Ах, да! Он ведь просто наклонился поднять с пола бумажку. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего особенного не случилось. Решительно ничего.

Он поднял бумажку, поднес ее к свету и аккуратно развернул.

Выходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша последняя возможность.

Он уничтожил эту записку, как и первую, поднял напильник и снова принялся за работу, упрямо стиснув зубы.

Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Еще два, а потом можно лезть.

Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. В последний раз это было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не сразу; так внезапно еще никогда не было.

Он уронил напильник, поднял руки, и с губ его сорвались — в первый раз с тех пор как он стал атеистом — слова молитвы. Он молился в беспредельном отчаянии, молился, сам не зная, к кому обращена эта мольба:

— Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Завтра я вынесу что угодно, но только не сегодня!

С минуту он стоял спокойно, прижав руки к вискам. Потом снова взял напильник и снова стал пилить.

Половина второго. Остался последний прут. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял кровавый туман, пот лил ручьем со лба, а он все пилил, пилил, пилил...

\* \* \*

Монтанелли заснул только на рассвете. Он был измучен бессонницей и некоторое время спал спокойно. Потом ему стали сниться сны.

Сначала эти сны были неясны, сбивчивы. Образы, один другого фантастичнее, мчались в быстрой хаотической смене, пронизанные болью, мукой и безотчетным ужасом. Потом он увидел во сне свою бессонницу — привычный, страшный сон, терзавший его в течение долгих лет. И он знал, что все это снится ему не в первый раз.

Он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и заснуть. Повсюду снуют люди — они болтают, смеются, кричат, молятся, звонят в колокола. Иногда ему удается уйти подальше от шума, и он ложится то на траву, то на деревянную скамью, то на каменную плиту. Он закрывает руками глаза от света и говорит себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его называют по имени, кричат ему: «Проснись, проснись скорей, ты нам нужен...»

А вот он в огромном дворце, в пышно разубранных залах. Повсюду стоят диваны, низкие мягкие софы. Спускается ночь, и он говорит себе: «Наконец-то я усну здесь в тишине». Он находит темный зал и ложится, и вдруг туда входят с зажженной лампой. Беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то кричит у него над ухом: «Вставай, тебя зовут!»

Он встает и идет дальше, шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу, словно раненное насмерть животное. Бьет час, и он знает, что ночь проходит, драгоценная короткая ночь. Два, три, четыре, пять часов — к шести весь город проснется, и тишине наступит конец.

«Если бы найти место, где можно спрятаться и уснуть! Крошечное местечко, хотя бы могилу!» И, не успев подумать об этом, он видит себя у края открытой могилы. Смертью и плесенью веет от нее. Но что за беда! Лишь бы выспаться.

«Мои́ла моя!» слышится голос Глэдис. Она откидывает истлевший саван, поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами.

И он идет все дальше и дальше и выходит на залитый ярким светом скалистый морской берег, о который, не зная покоя, с жалобным стоном плещут волны.

«Море сжалится надо мной! — говорит он. — Ведь оно тоже смертельно устало, оно тоже не может забыться сном».

И тогда из пучины встает Артур и говорит: «Море мое!»

\* \* \*

— Ваше преосвященство! Ваше преосвященство!

Монтанелли разом проснулся. К нему стучались. Он машинально встал и открыл слуге дверь, и тот увидел его измученное, искажённое страхом лицо.

— Ваше преосвященство, вы больны?

Монтанелли провел руками по лбу:

— Нет, я спал. Вы испугали меня.

— Простите. Рано утром мне показалось, что вы ходите по комнате, и я подумал...

— Разве уже так поздно?

— Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть по важному делу. Он знает, что ваше преосвященство поднимается рано, и...

— Он внизу? Я сейчас спущусь к нему.

Монтанелли оделся и сошел вниз.

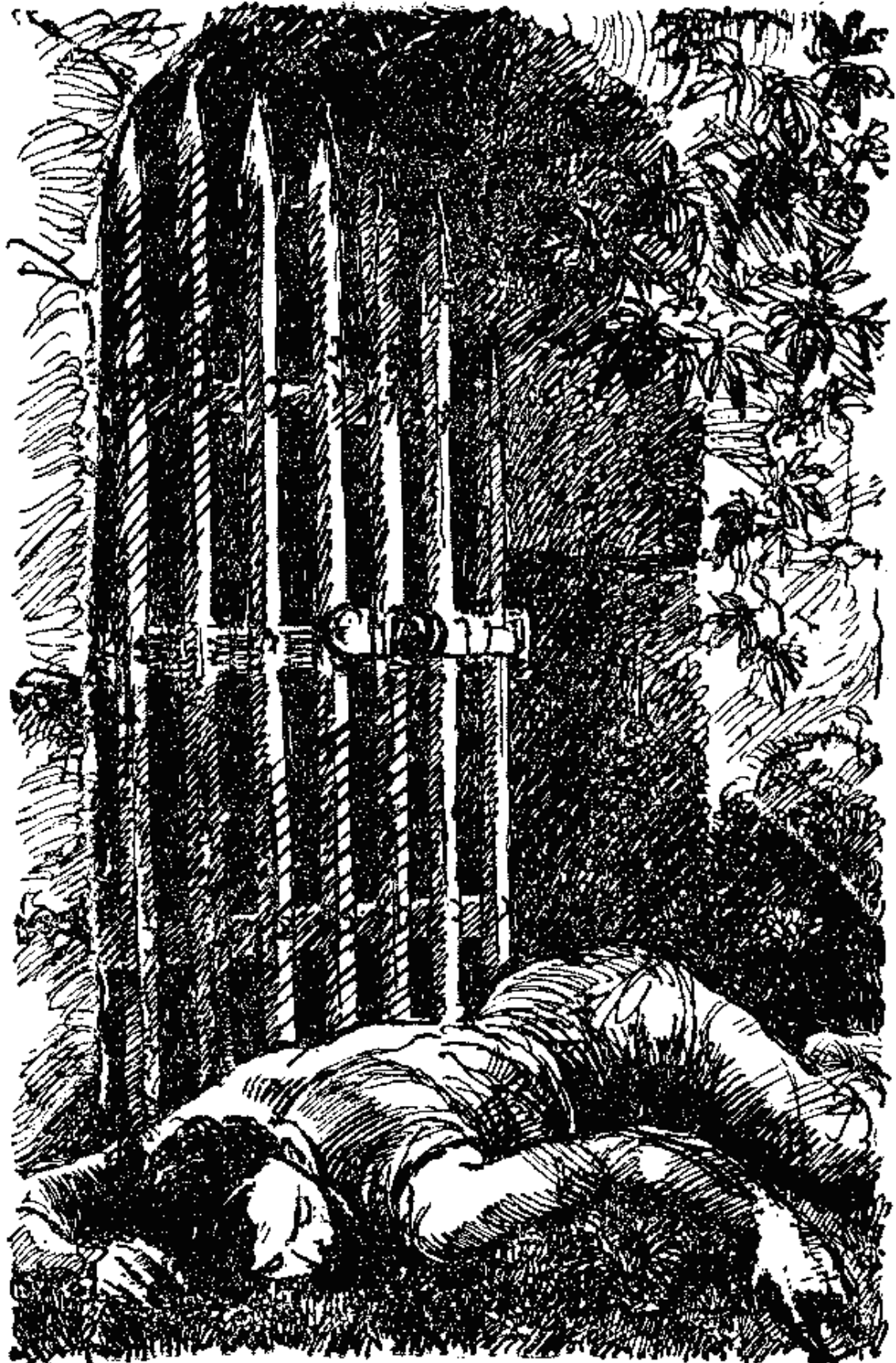
— Извините за бесцеремонность, ваше преосвященство, — начал полковник.

— Надеюсь, у вас ничего не случилось?

— Увы, ваше преосвященство! Риварес чуть-чуть не совершил побега.

— Ну что же, если побег не удался, значит ничего серьезного не произошло. Как это было?

— Его нашли во дворе, у железной двери. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат наткнулся на что-то. Принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперек дороги. Подняли тревогу. Разбудили меня. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решетка перепилена и с окна свешивается веревка, свитая из белья. Он спустился по ней вниз и пробрался ползком по стене. Железная дверь, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража была подкуплена.





— Но почему же он лежал без сознания? Упал со стены и расшибся?

— Я так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких следов падения. Солдат, дежуривший вчера, говорит, что Риварес казался совсем больным, когда ему принесли ужин, и ничего не ел. Но это чистейший вздор! Больной не перепилил бы решетки и не смог бы пробраться ползком по стене. Это немыслимо.

— Он дал какие-нибудь показания?

— Он еще не пришел в себя, ваше преосвященство.

— До сих пор?

— Время от времени сознание возвращается к нему, он стонет и затем снова забывается.

— Это очень странно. А что говорит врач?

— Врач не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков сердечной слабости, которой можно было бы объяснить состояние больного. Но как бы там ни было, ясно одно: припадок начался внезапно, когда Риварес был уже близок к цели. Лично я усматриваю в этом вмешательство милосердного провидения.

Монтанелли слегка нахмурился.

— Что вы собираетесь с ним делать? — спросил он.

— Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок: кандалы сняли — и вот результаты.

— Надеюсь, — прервал его Монтанелли, — что вы, по крайней мере, не закуете больного. В таком состоянии вряд ли он сможет совершить новую попытку к побегу.

— Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось, — пробормотал полковник себе под нос, выходя от кардинала. — Пусть его преосвященство сентиментальничает, сколько ему угодно. Риварес крепко закован, и здоров он или болен, а кандалы с него я не сниму.

\* \* \*

— Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все было сделано, когда он подошел к двери... Это какая-то чудовищная нелепость!

— Единственное, что можно предположить, — сказал Мартини, — это то, что у Ривареса начался приступ его болезни. Он боролся с ней, пока хватало сил, а потом, уже спустившись во двор, потерял сознание.

Марконе яростно постучал трубкой, вытряхивая из нее пепел:

— А, да что там говорить! Все кончено, мы ничего больше не сможем для него сделать. Бедняга!

— Бедняга! — повторил Мартини вполголоса; он вдруг понял, что без Овода и ему самому мир будет казаться пустым и мрачным.

— А она что думает? — спросил контрабандист, посмотрев в другой конец комнаты, где Джемма сидела одна, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой невидящими глазами.

— Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Лучше ее не тревожить.

Джемма словно не замечала их; но они говорили вполголоса, как будто в комнате был покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконе встал и спрятал трубку в карман.

— Я вернусь вечером, — сказал он.

Но Мартини остановил его:

— Не уходите, мне надо поговорить с вами. — Он еще больше понизил голос и продолжал почти топотом: — Так вы думаете, что надежды нет?

— Не знаю, какая может быть надежда. Вторая попытка невозможна. Если бы даже он был здоров и выполнил свою часть работы, то мы не сможем сделать нашей. Всех часовых сменили, подозревают их в соучастии. И Сверчку уже ничего не удастся сделать — в этом можно не сомневаться.

— А вы не думаете, — спросил вдруг Мартини, — что когда он выздоровеет, мы сможем как-нибудь отвлечь внимание стражи?

— Отвлечь внимание стражи? Как же это?

— Мне пришла в голову мысль, что если в день Corpus Domini,<sup>[81]</sup> когда процессия будет проходить мимо крепости, я загорожу полковнику дорогу и выстрелю ему в лицо, все часовые бросятся ловить меня, а вы с товарищами могли бы в это время освободить Ривареса. Это даже еще и не план. Просто у меня мелькнула такая мысль.

— Вряд ли это удастся, — сказал Марконе очень серьезно. — Надо, конечно, основательно все обдумать. Но... — он остановился и

взглянул на Мартини, — но если это окажется возможным, вы... согласитесь выстрелить в полковника?

Мартини был человек сдержанный. Но сейчас он забыл о сдержанности. Его глаза встретились с глазами контрабандиста.

— Соглашусь ли я? — повторил он. — Посмотрите на нее!

Других объяснений не понадобилось. Этими словами было сказано все. Марконе повернулся и посмотрел на Джемму.

Она не шелохнулась с тех пор, как начался этот разговор. На лице ее не было ни сомнения, ни страха, ни даже страдания — на нем лежала тень смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на нее.

— Торопись, Микеле, — сказал он, открывая дверь на веранду. — Вы оба, верно, совсем выбились из сил, но дел впереди еще много.

Микеле, а за ним Джино вошли в комнату.

— Я готов, — сказал Микеле. — Хочу только спросить синьору...

Он шагнул к Джемме, но Мартини схватил его за рукав:

— Не трогайте ее. Ей лучше побыть одной.

— Оставьте ее в покое, — прибавил Марконе. — Проку не будет от наших утешений! Видит бог, всем нам тяжело. Но ей, бедняжке, хуже всех.

## V

Целую неделю Овод находился в очень тяжелом состоянии. Припадок был жестокий, а перепуганный и обозленный полковник не только заковал больного в ручные и ножные кандалы, но велел еще привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезались в тело. Вплоть до конца шестого дня Овод переносил все это стоически. Потом гордость его была сломлена, и он чуть не со слезами умолял тюремного врача дать ему опиум. Врач охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил «такое баловство».

— Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум? — сказал он. — Очень возможно, что он все это время только притворялся и теперь хочет усыпить часового или выкинуть еще какую-нибудь штуку. У Ривареса хватит хитрости на что угодно.

— Я дам ему только одну дозу, часового этим не усыпишь, — ответил врач, едва сдерживая улыбку. — Ну, а притворства бояться не стоит. Он может умереть в любую минуту.

— Как бы там ни было, а я не позволю дать ему опиум. Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть ведет себя соответственно. Он вполне заслужил самые суровые меры. Может быть, это послужит ему уроком и научит обращаться осторожнее с оконными решетками.

— Закон, однако, запрещает пытки, — позволил себе заметить врач, — а ваши «суровые меры» очень близки к ним.

— Насколько я знаю, закон ничего не говорит об опиуме, — отрезал полковник.

— Дело ваше, полковник. Надеюсь, однако, что вы позволите снять, по крайней мере, ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что Риварес убежит. Он не мог бы держаться на ногах, если б даже вы освободили его.

— Врачи, дорогой мой, могут ошибаться, как и всякий другой смертный. Риварес привязан к койке и пусть так и остается.

— Так прикажите хотя бы отпустить ремни. Это варварство — затягивать их так туго.

— Они останутся, как есть. И я вас прошу прекратить эти разговоры. Если я так распорядился, значит у меня есть на это основания.

Таким образом, облегчения не было и в седьмую ночь. Солдат, стоявший у дверей камеры Овода, дрожал и крестился, слушая душераздирающие стоны узника. Терпение изменило Оводу.

В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно отпер дверь и вошел в камеру. Он знал, что это серьезное нарушение дисциплины, и все же не мог уйти, не утешив страдальца дружеским словом.

Овод лежал, не шевелясь, с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. С минуту солдат молча стоял над ним, потом наклонился и спросил:

— Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута.

Овод открыл глаза.

— Оставьте меня, — простонал он, — оставьте меня...

И прежде чем часовой успел вернуться на свое место, Овод уже заснул.

Десять дней спустя полковник снова зашел во дворец, но ему сказали, что кардинал отправился к больному и вернется не раньше вечера.

Когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил:

— Его преосвященство желает говорить с вами.

Полковник посмотрел в зеркало, в порядке ли мундир, принял торжественный вид и вышел в приемную. Монтанелли ждал его, задумчиво глядя в окно и постукивая пальцами по ручке кресла. Между бровей его лежала тревожная складка.

— Мне сказали, что вы были у меня сегодня, — начал кардинал, оборвав любезности полковника таким властным тоном, каким он никогда не говорил с простым народом. — И, вероятно, по тому же самому делу, о котором и я хочу поговорить с вами.

— Я приходил насчет Ривареса, ваше преосвященство.

— Я так и предполагал. Я много думал об этом последние дни. Но прежде чем приступить к делу, мне хотелось бы узнать, нет ли у вас каких-нибудь новостей.

Полковник смущенно дергал себя за усы.

— Я, собственно, за тем же самым приходил к вам, ваше преосвященство. Если вы все еще противитесь моему плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо, по чести, я не знаю, как мне быть.

— Разве есть новые осложнения?

— В следующий четверг, третьего июня, Corpus Domini, и вопрос так или иначе должен быть решен до этого дня.

— Да, в четверг Corpus Domini. Но почему вопрос должен быть решен до четверга?

— Мне очень неприятно, ваше преосвященство, что я как будто противлюсь вам, но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до тех пор не избавимся от Ривареса. В этот день, как вашему преосвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Ривареса. Это не удастся. Уж я позабочусь, чтобы не удалось, даже если придется пулями отгонять их от ворот. Но какая-то попытка в этом роде безусловно будет сделана. Народ в Романье дикий, и раз уж будут пущены в ход ножи...

— Надо постараться не доводить дело до резни. Я всегда считал, что со здешним народом очень легко ладить, надо только разумно с ним обходиться. Конечно, угроза и насилие ни к чему не приведут, и романцы только отобьются от рук. Но разве у вас есть основание предполагать, что затевается новая попытка освободить Ривареса?

— Вчера и сегодня утром доверенные агенты сообщили мне, что в области циркулирует множество тревожных слухов. Что-то готовится — это несомненно. Но более точных сведений у нас нет. Если бы мы знали, в чем дело, легче было бы принять меры предосторожности. Что касается меня, то после всей этой истории я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее. С такой хитрой лисой, как Риварес, надо быть начеку.

— В прошлый раз вы говорили, что Риварес сильно болен и не может ни двигаться, ни говорить. Значит, он выздоравливает?

— Ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьезно болен... если, конечно, не притворялся.

— У вас есть повод подозревать это?

— Видите ли, врач вполне убежден, что притворства тут не было, но болезнь его весьма таинственного характера. Так или иначе, он выздоравливает, и с ним стало еще труднее ладить.

— Что же он такое сделал?

— К счастью, он почти ничего не может сделать, — ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни. — Но его поведение — это что-то неопишное. Вчера утром я зашел в камеру предложить ему несколько вопросов. Он слишком слаб еще, чтобы приходить ко мне. Да это и лучше — я не хочу, чтобы его видели, пока он окончательно не поправится. Это рискованно. Сейчас же сочинят какую-нибудь нелепую историю.

— Итак, вы отправились допрашивать его?

— Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он хоть немного поумнел.

Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для себя и весьма неприятную зоологическую разновидность. Но, к счастью, полковник поправлялся в это время португую и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном:

— Я не прибегал ни к каким чрезвычайным мерам, но был вынужден проявить некоторую строгость — ведь как-никак, а у нас военная тюрьма. Я полагал, что некоторые послабления могут оказаться теперь благотворными, и предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя прилично. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту глядел на меня, точно волк, попавший в западню, а потом сказал совершенно мирным тоном: «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите ваше горло подальше». Он неукротим, как дикая кошка.

— Меня это несколько не удивляет, — спокойно ответил Монтанелли. — Я хочу теперь задать вам вопрос: вы убеждены, что присутствие Ривареса в здешней тюрьме угрожает спокойствию области?

— Совершенно убежден, ваше преосвященство.

— Следовательно, для предотвращения кровопролития необходимо так или иначе избавиться от него перед праздником?

— Я могу лишь повторить, что если он еще будет здесь в четверг, то побоища не миновать, и, по всей вероятности, очень серьезного.

— Значит, если его здесь не будет, то минует и опасность?

— Тогда все сойдет гладко — в худшем случае, немного покричат и пошвыряют камнями. Если ваше преосвященство найдет способ избавиться от Ривареса, я отвечаю за порядок. В противном случае будут серьезные неприятности. Я убежден в том, что готовится новая попытка его освобождения, и этого можно ожидать именно в четверг. Если же в этот день заговорщики узнают, что Ривареса уже нет в крепости, все их планы отпадут сами собой, и повода к драке не будет. А если нам придется давать им отпор и в толпе пойдут в ход ножи, то город, возможно, будет сожжен до наступления ночи.

— В таком случае, почему вы не переведете его в Равенну?

— Видит бог, ваше преосвященство, я бы с радостью это сделал. Но тогда его, вероятно, попытаются освободить по дороге. У меня не хватит солдат отбить вооруженное нападение, а у всех горцев имеются ножи или кремневые ружья.

— Следовательно, вы продолжаете настаивать на военно-полевом суде и хотите получить мое согласие?

— Простите, ваше преосвященство: единственно, о чем я вас прошу, — это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды бывают иногда без нужды строги и только озлобляют народ, вместо того чтобы смирять его. Но в данном случае военный суд был бы мерой разумной и в конечном счете милосердной. Он предупредит беспорядки, которые сами по себе составляют наше несчастье и, кроме того, могут вызвать введение трибуналов, отмененных его святейшеством.

Полковник закончил свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго, и ответ поразил его своей неожиданностью:

— Полковник Феррари, вы верите в бога?

— Ваше преосвященство! — вскричал тот.

— Верите ли вы в бога? — повторил Монтанелли, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом.

Полковник тоже встал:

— Ваше преосвященство, я христианин, и мне никогда еще не отказывали в отпущении грехов.

Монтанелли поднял с груди крест:



— Так поклянитесь же крестом искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду.

Полковник стоял неподвижно, растерянно глядя на кардинала. Он никак не мог разобрать, кто из них двоих лишился рассудка: он или Монтанелли.

— Вы просите, — продолжал Монтанелли, — чтобы я дал свое согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне еще раз, что нет иного средства предотвратить большее кровопролитие. И помните: если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.

Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам.

— Я убежден, что нет другого средства, — сказал он.

Монтанелли медленно отвернулся от него:

— Завтра вы получите ответ. Но сначала я должен повидать Ривареса и поговорить с ним наедине.

— Ваше преосвященство... разрешите мне сказать... вы пожалеете об этом. Вчера Риварес сам просил свидания с вами, но я оставил это без внимания, потому что...

— Оставили без внимания? — повторил Монтанелли. — Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете его просьбу без внимания!

— Простите, ваше преосвященство, но мне не хотелось беспокоить вас из-за такой дерзкой просьбы. Я уже достаточно хорошо знаю Ривареса. Можно быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне кстати сказать, что подходить к нему близко без стражи нельзя. Он настолько опасен, что я счел необходимым применить к нему некоторые меры, довольно, впрочем, мягкие...

— Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооруженному человеку, к которому вы вдобавок «применили некоторые довольно мягкие меры»?

Монтанелли говорил спокойным голосом, но полковник почувствовал в его тоне такое презрение, что краска злобы залила его лицо.

— Ваше преосвященство поступит, как сочтет нужным, — сухо сказал он. — Я хотел только избавить вас от необходимости

выслушивать его ужасные богохульства.

— Что вы считаете бóльшим несчастьем для христианина: слушать богохульства или покинуть ближнего в тяжелую для него минуту?

Полковник стоял, вытянувшись во весь рост; физиономия у него была совершенно деревянная. Он был глубоко уязвлен обращением с ним Монтанелли и проявлял свое недовольство подчеркнутой церемонностью.

— В котором часу ваше преосвященство желает посетить заключенного? — спросил он.

— Я пойду к нему сейчас.

— Как вашему преосвященству угодно. Не будете ли вы добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь в тюрьму сказать, чтобы его приготовили?

Полковник сразу спустился со своего пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни.

— Благодарю вас, мне хочется видеть его как он есть, без всяких приготовлений. Я иду прямо в крепость. До свиданья, полковник. Завтра утром вы получите от меня ответ.

## VI

Овод услышал, как отпирают дверь, и вяло отвел от нее взгляд. Он подумал, что это опять идет полковник изводить его новым допросом. На узкой лестнице слышались шаги солдат; приклады их карабинов задевали о стену.

Потом кто-то произнес почтительным голосом:

— Ступеньки крутые, ваше преосвященство.

Овод судорожно рванулся, но ремни больно впились ему в тело, и он весь съежился, с трудом переводя дыхание.

В камеру вошел Монтанелли в сопровождении сержанта и трех часовых.

— Одну минутку, ваше преосвященство, — сказал сержант. — Сейчас вам принесут стул, я уже послал за ним. Извините, ваше преосвященство: если бы мы вас ожидали, все было бы приготовлено.

— Не надо никаких приготовлений, сержант. Будьте добры, оставьте нас одних. Подождите внизу.

— Слушаю, ваше преосвященство. Вот и стул. Прикажете поставить около него?

Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли.

— Он, кажется, спит, ваше преосвященство, — сказал сержант.

Но Овод открыл глаза.

— Нет, не сплю, — сказал он.

Солдаты уже выходили из камеры, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их. Они оглянулись и увидели, что кардинал наклонился над узником и рассматривает ремни.

— Кто это сделал? — спросил он.

Сержант мямл в руках кепи:

— Таково было распоряжение полковника, ваше преосвященство.

— Я ничего об этом не знал, синьор Риварес, — сказал Монтанелли упавшим голосом.

Овод улыбнулся своей злой улыбкой:

— Как я уже говорил вашему преосвященству, я вовсе не ж-ждал, что меня будут гладить по головке.

— Когда было отдано распоряжение, сержант?

— После попытки бежать, ваше преосвященство.

— Больше двух недель тому назад? Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни.

— Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять их, но полковник Феррари не позволил.

— Немедленно принесите нож.

Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побелело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонясь над Оводом, принялся разрезать ремень, стягивавший его руки. Он делал это очень неискусно и неловким движением затянул ремень еще сильнее.

Овод вздрогнул и, не удержавшись, закусил губы. Монтанелли быстро шагнул вперед:

— Вы не умеете, дайте мне нож.

— А-а-а!

Овод расправил руки, и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Еще мгновение, и Монтанелли разрезал ремни на ногах.

— Снимите с него кандалы, сержант, а потом подойдите ко мне: я хочу поговорить с вами.

Монтанелли отошел к окну и молча глядел, как с Овода снимают оковы. Потом сержант подошел к нему.

— Расскажите мне все, что произошло за это время, — сказал Монтанелли.

Сержант с полной готовностью рассказал обо всем, что знал: о болезни Овода, о примененных к нему «дисциплинарных мерах» и о неудачном заступничестве врача.

— Но я, ваше преосвященство, полагаю, — прибавил он, — что полковник нарочно не велел снимать ремни, чтобы заставить его дать показание.

— Показание?

— Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только он, — сержант бросил быстрый взгляд на Овода, — согласится ответить на один его вопрос.

Рука Монтанелли, лежавшая на подоконнике, сжалась в кулак. Солдаты переглянулись. Они еще никогда не видели, чтобы добрый кардинал гневался.

А Овод в эту минуту забыл об их существовании, забыл обо всем на свете и ничего не хотел знать, кроме физического ощущения свободы. Все его тело сводило судорогой, и теперь он с наслаждением потягивался и поворачивался с боку на бок.

— Можете идти, сержант, — сказал кардинал. — Не беспокойтесь, вы неповинны в нарушении дисциплины, вы были обязаны ответить на мой вопрос. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал.

Когда дверь за солдатами закрылась, Монтанелли облокотился на подоконник и несколько минут смотрел на заходящее солнце, чтобы дать Оводу время оправиться.

— Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной наедине, — начал он, отходя от окна и садясь возле койки. — Если вы достаточно хорошо чувствуете себя, то я к вашим услугам.

Монтанелли говорил холодным, повелительным тоном, совершенно ему несвойственным. Пока ремни не были сняты, Овод был для него лишь страдающим, замученным существом, но теперь ему пришел на память их последний разговор и смертельное оскорбление, которым он закончился.

Овод небрежно заложил руку за голову и поднял глаза на кардинала.

Он обладал прирожденной грацией движений, и когда его голова была в тени, никто не угадал бы, через какой ад прошел этот человек. Но сейчас, при ясном свете, можно было разглядеть его измученное, бледное лицо и страшный, неизгладимый след, который оставили на этом лице страдания последних дней. И гнев Монтанелли исчез.

— Вы, кажется, были очень больны, — сказал он. — Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше. Я сразу прекратил бы истязания.

Овод пожал плечами.

— На войне не разбирают средств, — холодно проговорил он. — Ваше преосвященство не признает ремней теоретически, с христианской точки зрения, но трудно требовать, чтобы полковник разделял ее. Он, без сомнения, предпочел бы не знакомиться с ремнями на своей собственной шкуре, как случилось со мной. Но это вопрос только личного удобства. В данный момент я оказался побежденным — чего ж вы хотите?.. Во всяком случае, ваше преосвященство, с вашей стороны очень любезно, что вы посетили

меня. Но, может быть, и это сделано на основании христианской морали? Посещение заключенных. Да, конечно! Я забыл. «Кто напоит единого из м-малых сих...»<sup>[82]</sup> и так далее. Не особенно это лестно, но один из «малых сих» вам чрезвычайно благодарен.

— Синьор Риварес, — прервал его кардинал, — я пришел сюда ради вас. Если бы вы не «оказались побежденным», как вы сами выражаетесь, я никогда не заговорил бы с вами снова после нашей последней встречи. Но у вас двойная привилегия: узника и больного, и я не мог отказать вам. Вы действительно хотите что-то сообщить мне или послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком?

Ответа не было. Овод отвернулся и закрыл глаза рукой.

— Простите, что приходится вас беспокоить... — сказал он наконец хриплым голосом. — Дайте мне, пожалуйста, воды.

На окне стояла кружка с водой. Монтанелли встал и принес ее. Наклонившись над узником и приподняв его за плечи, он вдруг почувствовал, как холодные, влажные пальцы Овода сжали его руку словно тисками.

— Дайте мне руку... скорее... на одну только минуту, — прошептал Овод. — Ведь от этого ничто не изменится! Только на минуту!

Он опустил голову в изнеможении, припав лицом к руке Монтанелли, и задрожал всем телом.

— Выпейте воды, — сказал Монтанелли после короткой паузы.

Овод молча повиновался, потом снова лег и закрыл глаза. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука Монтанелли коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни.

Монтанелли придвинул стул ближе к койке и снова сел. Овод лежал без движения, как труп, с мертвенно-бледным, осунувшимся лицом. После долгого молчания он открыл глаза, и его блуждающий взгляд остановился на Монтанелли.

— Благодарю вас, — сказал он. — Простите... Вы, кажется, спрашивали меня о чем-то?

— Вам нельзя говорить. Если вы хотите сказать мне что-то, я приду к вам завтра.

— Пожалуйста, не уходите, ваше преосвященство. Право, я совсем здоров. Просто немного поволновался за последние дни. Да и то это больше притворство — спросите полковника, он вам расскажет.

— Я предпочитаю делать выводы сам, — спокойно ответил Монтанелли.

— Полковник тоже. И его выводы бывают иногда в-весьма остроумны. Это трудно предположить, судя по его виду, но бывает, что ему приходят в голову оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например... кажется, это было в пятницу... я стал немного путать дни, ну да все равно, — я попросил дать мне опиум. Это-то я помню очень хорошо. А он пришел сюда и заявил: опиум мне д-дадут, если я скажу, кто отпер дверь. Помню, он говорил: «Если вы действительно больны, то согласитесь; если же откажетесь, я сочту это д-доказательством того, что вы притворяетесь». Я и не предполагал, что это будет так смешно. З-забавнейший случай...

Он разразился громким, режущим ухо смехом. Потом разом повернулся к кардиналу и продолжал говорить все быстрее и быстрее, заикаясь так сильно, что с трудом можно было разобрать слова:

— Разве в-вы не находите, что это забавно? Ну к-конечно, нет. У лиц д-духовного звания не бывает чувства юмора. Вы все принимаете т-трагически. Н-например, в ту ночь, в соборе, как вы были торжественны! А к-какой я, должно быть, имел п-патетический вид в костюме паломника! Да вы и сейчас не видите н-ничего смешного в своем визите ко мне.

Монтанелли поднялся:

— Я пришел выслушать вас, но вы, очевидно, слишком взволнованы. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.

— В-высплюсь? О, я буду с-спать крепко, ваше преосвященство, когда вы д-дадите свое с-согласие полковнику. Унция свинца — п-превосходное успокоительное.

— Я вас не понимаю, — сказал Монтанелли, поворачиваясь к нему с удивленным видом.

Овод снова разразился хохотом.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство, п-правдивость — г-главнейшая из христианских добродетелей! Н-неужели вы д-думаете, что я н-не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего с-

согласия на военный суд? Не противьтесь, ваше преосвященство, все ваши братья-прелаты поступили бы точно так же. Ваше согласие принесет столько хорошего и так мало вреда! Уверяю вас, что этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели.

— Прошу вас, перестаньте смеяться, — прервал его Монтанелли, — и скажите: откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом?

— Р-разве полковник не жаловался вам, что я д-дьявол, а не человек? Нет? А мне он повторял это не раз. Я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше преосвященство, считаете меня крайне неприятным человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы ваша чуткая совесть не была таким образом п-потревожена. Довольно п-правильно угадано, не так ли?

— Выслушайте меня, — очень серьезно сказал кардинал, снова сядя рядом с ним. — Это правда — каким бы путем вы ее ни узнали. Полковник Феррари опасается, что ваши друзья предпримут новую попытку освободить вас, и хочет предупредить ее... способом, о котором вы говорили. Как видите, я с вами вполне откровенен.

— Ваше п-преосвященство в-всегда славились своей п-правдивостью, — вставил Овод голосом, полным горечи.

— Вы, конечно, знаете, — продолжал Монтанелли, — что светские дела мне не подведомственны. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием, и полковник вряд ли решится на крайние меры без моего хотя бы молчаливого согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был против его плана. Теперь он усиленно пытается поколебать мое мнение, уверяя, что в четверг, когда сюда соберется народ на процессию, может быть сделана вооруженная попытка освободить вас, которая, возможно, окончится кровопролитием... Вы слушаете меня?

Овод рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом:

— Да, слушаю.

— Может быть, вам все-таки трудно вести этот разговор сегодня? Лучше я приду завтра с утра. Вопрос очень серьезен и требует, чтобы вы отнеслись к нему с полным вниманием.

— Мне бы хотелось покончить с ним сегодня, — ответил Овод все так же устало. — Я вникаю во все, что вы говорите.



— Итак, — продолжал Монтанелли, — если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые поведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. С другой стороны, мне кажется, что личная неприязнь к вам мешает ему быть беспристрастным и заставляет преувеличивать опасность. В этом я убедился, увидев доказательства его возмутительной жестокости.

Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу, и продолжал:

— Дать свое согласие — значит убить вас. Отказать в нем — значит подвергнуть риску жизнь ни в чем не повинных людей. Я очень серьезно думал над этим и старался найти какой-нибудь выход. Теперь наконец я принял определенное решение.

— Убить меня и с-спасти ни в чем не повинных людей? Это единственное решение, к которому может притти добрый христианин. «Если правая рука с-соблазняет тебя...»<sup>[83]</sup> и так далее. А я даже не имею чести быть п-правой рукой вашего преосвященства. В-вывод ясен. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления?

Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежения в голосе, словно наскучив предметом спора.

— Ну, что же? — сказал он после короткой паузы. — Таково и было решение вашего преосвященства?

— Нет.

Овод заложил руки за голову и посмотрел на Монтанелли из-под полуопущенных ресниц. Кардинал сидел в глубоком раздумье. Голова его низко опустилась на грудь, а пальцы медленно постукивали по ручке стула. О, этот старый, так хорошо знакомый жест!

— Я поступил так, — сказал наконец Монтанелли, поднимая голову, — как, вероятно, никто никогда не поступал. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, я решил притти сюда и положитьсь во всем на вас.

— Положиться на меня?

— Синьор Риварес, я пришел не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришёл к вам как человек к человеку. Я не стану спрашивать, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых

говорил полковник: я очень хорошо понимаю, что если вам известно об этом, то это ваша тайна, которую вы мне не откроете. Но представьте себя на моем месте. Я стар, и мне уж немного остается жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью.

— А разве ваши руки уже не запятнаны кровью, ваше преосвященство?

Монтанелли чуть побледнел, но продолжал спокойным голосом:

— Всю свою жизнь я восставал против насилия и жестокости, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни. При прежнем папе я неоднократно и настойчиво высказывался против военных трибуналов, за что и впал в немилость. Все свое влияние я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, использовал для дела милосердия. Прошу вас, верьте, по крайней мере, что это правда. Теперь передо мною трудная задача. Если я откажу полковнику, в городе может вспыхнуть бунт ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека, который поносил мою религию, преследовал оскорблениями меня лично (это, впрочем, не так важно). Если этому человеку сохранят жизнь, он обратит ее во зло, в чем я не сомневаюсь. И все-таки речь идет о человеческой жизни.

Он замолк, потом снова заговорил:

— Синьор Риварес, все, что я знаю о вашей деятельности, заставляет меня смотреть на вас как на человека дурного, жестокого, ни перед чем не останавливающегося. До некоторой степени я придерживаюсь этого мнения и сейчас. Но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеете хранить верность своим друзьям. Вы сумели внушить солдатам любовь и уважение к себе, а это удается не каждому. Может быть, я ошибся в своем суждении о вас, может быть вы лучше, чем кажется. К этому другому, лучшему человеку я и обращаюсь и заклинаю его сказать мне правду: что бы вы сделали на моем месте?

Наступило долгое молчание; потом Овод взглянул на Монтанелли:

— Я, во всяком случае, решал бы сам, не боясь ответственности за свои действия, и не стал бы лицемерно и трусливо, как это делают христиане, перекладывать решение на чужие плечи.

Удар был так внезапен и бешеная страстность этих слов так противоречила недавней безучастности Овода, что, казалось, он

сбросил с себя маску.

— Мы, атеисты, — яростно продолжал он, — считаем, что человек должен нести свое бремя, как бы тяжело оно ни было. Если же он упадет, тем хуже для него. Но христианин скулит и жалуется своему богу, своим святым, а если они не помогают, то даже врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу. Неужели в вашей библии, в ваших требниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? Да что это! Неужели мое бремя так уж легко и мне надо взваливать на плечи и вашу ответственность? И убьете-то вы всего-навсего атеиста, человека, смеющегося над вашими высокими словами, а это не такое уж большое преступление.

Он остановился, перевел дух и продолжал с той же страстностью:

— И вы толкуете о жестокости! Да этот в-вислоухий осел не мог бы за год измучить меня так, как измучили вы за несколько минут. У него не хватит для этого мозгов. Все, что он может выдумать, — это затянуть потуже ремни, а когда больше уже затягивать некуда, то все его средства исчерпаны. Всякий дурак может это сделать. А вы! «Будьте добры подписать свой собственный смертный приговор. Мое нежное сердце не позволяет мне сделать это». До такой гадости может додуматься только христианин, кроткий, сострадательный христианин, который бледнеет при виде слишком туго затянутого ремня. Как я не догадался, когда вы вошли сюда, подобно ангелу милосердия, возмущенному «варварством полковника», что теперь-то только и начинается настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело выеденного яйца не стоит. Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня, или повесить, или изжарить живьем, если это доставит ему удовольствие, и кончайте скорей!

Овода трудно было узнать. Он был вне себя от бешенства и дрожал, тяжело переводя дух, а глаза у него искрились зеленым огнем, словно у кошки.

Монтанелли молча глядел на него. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков, но чувствовал, что дойти до такого исступления может лишь человек, доведенный до последней крайности. И, поняв это, он простил ему все прежние обиды.

— Успокойтесь, — сказал он. — Никто не хотел вас мучить. И, право же, я не думал сваливать свою ответственность на вас, чья ноша и без того слишком тяжела. Ни одно живое существо не упрекнет меня в этом...

— Это ложь! — крикнул Овод с пылающими глазами. — А епископство?

— Епископство?

— А! Об этом вы забыли? Забыть так легко! «Если хочешь, Артур, я откажусь...» Мне приходилось решать за вас, мне — в девятнадцать лет! Если б это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами!

— Остановитесь! — крикнул Монтанелли, хватаясь за голову; потом беспомощно опустил руки, медленно отошел к окну и сел на подоконник, прижавшись лбом к решетке.

Овод, дрожа всем телом, следил за ним.

Монтанелли встал и подошел к Оводу. Губы у него посерели.

— Простите, пожалуйста, — сказал он, стараясь сохранить свою обычную спокойную осанку. — Я должен уйти... Я не совсем здоров.

Он дрожал, как в лихорадке. Гнев Овода сразу погас:

— Падре, неужели вы не...

Монтанелли подался назад.

— Только не это, — прошептал он. — Все, что хочешь, господи, только не это! Я схожу с ума...

Овод приподнялся на локте и взял его дрожащие руки в свои:

— Падре, неужели вы не понимаете, что я не утонул?

Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели. Наступило мертвое молчание. Потом Монтанелли опустился на колени и спрятал лицо на груди Овода.



\* \* \*

Когда он поднял голову, солнце уже село, и последний красный отблеск его угасал на западе. Они забыли обо всем, забыли о жизни и смерти, о том, что были врагами.

— Артур, — прошептал Монтанелли, — неужели это ты вернулся ко мне? Ты воскрес из мертвых?

— Из мертвых, — повторил Овод и вздрогнул.

Он положил голову на плечо Монтанелли, как больное дитя в объятиях матери.

— Ты вернулся... ты вернулся наконец!

Овод тяжело вздохнул.

— Да, — сказал он, — и вам нужно бороться за меня или убить меня.

— Замолчи, сагино! К чему все это теперь! Мы с тобой словно дети, заблудившиеся в потемках, приняли друг друга за привидения. Теперь мы нашли друг друга и вышли на свет. Бедный мой мальчик, как ты изменился! Волны горя залили тебя с головой — тебя, в ком было раньше столько радости, столько веселья! Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты вернулся, а потом проснись — вокруг темно и пусто. Неужели это все тот же сон? Дай мне убедиться, что это правда, расскажи, что с тобой было.

— Все было очень просто. Я спрятался на торговом судне и уехал в Южную Америку.

— А там?

— Там я жил, если только это можно назвать жизнью, пока... О, с тех пор как вы обучали меня философии, я многое постиг в жизни! Вы говорите, что видели меня во сне... Я вас тоже...

Он вздрогнул и надолго замолчал.

— Это было, когда я работал, на рудниках в Эквадоре...

— Не рудокопом?

— Нет, подручным рудокопа, наравне с китайскими кули. Мы спали в бараке у самого входа в шахту. Я страдал тогда той же болезнью, что и сейчас, а приходилось таскать целые дни камни под раскаленным солнцем. Раз ночью у меня, должно быть, начался бред, потому что я увидел, как вы открыли дверь. В руках у вас было распятие, вот такое же, как здесь на стене. Вы молились и прошли совсем близко, не заметив меня. Я закричал, прося вас помочь мне, дать мне яду или нож — что-нибудь, что положило бы конец моим страданиям, прежде чем я лишусь рассудка. А вы...

Он закрыл глаза одной рукой; другую все еще сжимал Монтанелли.

— Я видел по вашему лицу, что вы слышите меня, но вы даже не взглянули в мою сторону и продолжали молиться. Потом, кончив, поцеловали распятие, оглянулись и прошептали: «Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею показать это... он разгневадается...» И я посмотрел на Христа и увидел, что он смеется... Потом пришел в себя, снова увидел барак и кули, больных проказой, и понял все. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать благорасположение этого вашего божка, чем вырвать меня из ада. И я запомнил это. Забыл только сейчас, когда вы дотронулись до меня... ведь я болен. Я любил вас когда-то. Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не видите, что пока вы веруете в вашего Иисуса, мы можем быть только врагами?

Монтанелли склонил голову и поцеловал изуродованную руку Овода:

— Артур, как же мне не верить? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как отказаться от нее теперь, когда ты возвращен мне богом? Вспомни: ведь я был уверен, что убил тебя.

— Это вам еще предстоит сделать.

— Артур!

В этом крике звучал ужас, но Овод продолжал, словно не слыша:

— Будем честными до конца. Мы не сможем протянуть друг другу руки над той глубокой пропастью, которая разделяет нас. Если вы не можете или не хотите отказаться от этого, — он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене, — то вам придется дать свое согласие полковнику.

— Согласие! Боже мой... Согласие! Артур, но ведь я люблю тебя!

Лицо Овода исказилось от боли:

— Кого вы любите больше? Меня или вот это?

Монтанелли медленно встал. Ужас объял его душу и, казалось, придавил страшной тяжестью тело. Он почувствовал себя слабым, старым и жалким, как лист, тронутый первым морозом. Сон кончился, и перед ним снова пустота и тьма.

— Артур, сжался надо мной хоть немного!

— А много ли у вас было жалости ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом на сахарных плантациях? Вы вздрогнули. Вот они, мягкосердечные святоши! Вот что по душе господу-богу — покаяться в грехах и сохранить себе жизнь, а сын пусть умирает! Вы говорите,

что любите меня... Дорого обошлась мне ваша любовь! Неужели вы думаете, что можете загладить все и, обласкав, превратить меня в прежнего Артура? Меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни у фермеров? Меня, который был клоуном в бродячем цирке, слугой матадоров?<sup>[84]</sup> Меня, который угождал каждому скоту, не ленившемуся распорядиться мной, как ему вздумается? Меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплевывали? Меня, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью объедки, и получал отказ, потому что они шли в первую очередь собакам? Зачем я говорю вам обо всем этом! Разве расскажешь о тех бедах, которые вы навлекли на меня! А теперь вы твердите о своей любви! Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради нее от своего бога? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас? За что вы любите его больше меня? За пробитые гвоздями руки? Так посмотрите же на мои! И на это поглядите, и на это, и на это...

Он разорвал рубашку, показывая страшные рубцы на теле.

— Падре, ваш бог — обманщик, раны его поддельны, и все его муки — ложь. Ваше сердце должно по праву принадлежать мне! Падре, нет таких мук, каких я не испытал из-за вас. Если бы вы только знали, что я пережил! И все-таки я не хотел умирать. Я перенес все и закалил свою душу терпением, потому что хотел вернуться к жизни и вступить в борьбу с вашим богом. Эта цель была мне щитом, и им я защищал свое сердце, когда мне грозили безумце и вторая смерть. И вот теперь, вернувшись, я снова вижу на моем месте лжемученика, того, кто был пригвожден к кресту всего-навсего на шесть часов, а потом воскрес из мертвых. Падре, меня распинали в течение пяти лет, и я тоже воскрес! Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете?

Голос его оборвался. Монтанелли сидел не шевелясь, словно каменное изваяние. Бурные упреки Овода вызвали у него сначала дрожь, мускулы его сокращались, как от ударов бича. Но теперь он сидел совершенно спокойно.

Наступило долгое молчание. Наконец Монтанелли заговорил голосом, полным терпения и покорности:

— Артур, скажи мне ясней, чего ты хочешь. Ты пугаешь меня, мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь?

Овод повернул к нему бледное, точно у призрака, лицо:



— Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбрать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите его больше, оставайтесь с ним.

— Я не понимаю тебя, — устало повторил Монтанелли. — О каком выборе ты говоришь? Ведь прошлого изменить нельзя.

— Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и пойдите со мной. Мои друзья готовят новый побег, и ваша помощь облегчит им эту задачу. Когда же мы будем по ту сторону границы, признайте меня публично своим сыном. Если же в вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный идол вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но тогда уходите сейчас же, немедленно, избавьте меня от этой пытки. Мне и так тяжело.

Монтанелли поднял голову, по его телу пробежала дрожь. Он начинал понимать, чего от него требуют.

— Я, конечно, снесусь с твоими друзьями. Но... идти с тобой мне нельзя... я священник.

— А от священника я не приму милости. Не надо больше компромиссов, падре! Довольно я страдал от них! Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня.

— Как я откажусь от тебя, Артур! Как я откажусь от тебя!

— Тогда оставьте своего бога. Выбирайте между нами двумя. Неужели вы поделите вашу любовь между ним и мной: половину мне, а половину богу? Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной.

— Артур, Артур, неужели ты хочешь разорвать мое сердце? Неужели ты хочешь довести меня до безумия?

Овод ударил рукой по стене.

— Выбирайте между нами двумя, — повторил он еще раз.

Монтанелли достал спрятанную на груди смятую, истершуюся бумажку.

— Смотри, — сказал он.

Я верил в вас, как в бога. Бог — это идол, вылепленный из глины, который можно разбить молотком. А вы лгали мне всю жизнь.

Овод засмеялся и вернул ему письмо:

— Вот что значит д-девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им идолов кажется таким легким делом. Это легко и теперь, но только я сам попал под молот. Ну, а вы еще найдете немало людей, которых можно дурачить, не боясь, что они разоблачат вас.

— Делай, как хочешь, — сказал Монтанелли. — Кто знает, может быть и я на твоём месте был бы так же беспощаден. Я не могу сделать того, чего ты требуешь, Артур, но то, что в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, то со мной произойдет несчастный случай в горах или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Выбирай, что тебя больше устраивает. Ничего другого я не могу сделать. Это большой грех, но, я надеюсь, он простит меня. Он милосерднее...

Овод протянул к нему руки:

— О, это слишком! Это слишком! Что я вам сделал? Кто вам дал право так думать обо мне? Точно я собираюсь мстить. Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь?

Он схватил руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемешку со слезами.

— Падре, пойдите с нами! Что у вас общего с этим мертвым миром идолов? Ведь они — прах ушедших веков! Они прогнили насквозь, от них веет смрадом разложения! Уйдите от этой чумной заразы церкви — я уведу вас в светлый мир. Падре, мы — жизнь и молодость, мы — вечная весна, мы — будущее человечества. Заря близко, падре, — неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь, и забудем страшные кошмары! Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново! Падре, я всегда любил вас, всегда! Даже в ту минуту, когда вы нанесли мне смертельный удар! Неужели вы убьете меня еще раз?

Монтанелли оттолкнул его руки.

— Господи, смилуйся надо мной! — воскликнул он. — Артур, у тебя глаза твоей матери!

Наступило глубокое, долгое молчание.

Они глядели друг на друга в сером полумраке, и сердца их стыли от ужаса.

— Скажи мне что-нибудь, — прошептал Монтанелли. — Подай хоть какую-нибудь надежду.

— Нет. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, я нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож.

Монтанелли повернулся к распятию:

— Господи! Ты слышишь?..

Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было.

Демон насмешки снова проснулся в Оводе:

— Г-громче зовите! Он, наверно, спит.

Монтанелли вздрогнул, будто его ударили. Минуту он глядел прямо перед собой. Потом опустился на край койки, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод задрожал всем телом, поняв, что значат эти слезы. Холодный пот выступил у него на лбу.

Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. Разве не довольно того, что ему придется умереть — ему, полному сил и жизни!

Но рыданий нельзя было заглушить. Они раздавались у него в ушах, проникали в мозг, в кровь.

А Монтанелли все плакал, и слезы струились у него сквозь пальцы. Наконец рыдания затихли, и он, словно ребенок, вытер глаза платком. Платок упал на пол.

— Слова излишни, — сказал он. — Ты понял меня?

— Да, понял, — ответил Овод с мрачной покорностью. — Это не ваша вина. Ваш бог голоден, и его надо кормить.

Монтанелли повернулся к нему. И наступившее молчание было страшнее молчания могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них.

Молча глядели они друг на друга, словно возлюбленные, которых разлучили насильно и которым не переступить поставленной между ними преграды.

Овод первый опустил глаза. Он поник всем телом, пряча лицо, и Монтанелли понял, что это значит: «Уходи». Он повернулся и вышел из камеры.

Минута, и Овод вскочил с койки:

— О, я не вынесу этого! Падре, вернитесь! Вернитесь!

Дверь была заперта. Долгим взглядом обвел он стены камеры и понял, что все кончено. «Ты победил, галилеянин». [\[85\]](#)

Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава — трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударами заступа. И всю ночь напролет рыдал Овод, лежа один, в темноте...

## VII

Во вторник утром происходил военный суд.

Он продолжался очень недолго. Это была лишь пустая формальность, занявшая не больше двадцати минут. Да много времени и не требовалось. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненые шпик и офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен: Монтанелли послал неофициальное согласие, которого от него добивались. Судьям — полковнику Феррари, драгунскому майору и двум офицерам папской гвардии — нечего было делать. Прочли обвинительный акт, свидетели дали показания, приговор скрепили подписями и с соответствующей торжественностью прочли осужденному. Он выслушал его молча и на предложение воспользоваться правом подсудимого на последнее слово только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и плакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо его было бледно и безжизненно, глаза все еще хранили следы слез. Слова «к расстрелу» мало подействовали на него. Когда он услышал их, зрачки его расширились — и только.

— Отведите осужденного в камеру, — приказал полковник, когда все формальности были закончены.

Сержант, который, видимо, едва сдерживал слезы, тронул за плечо неподвижную фигуру. Овод чуть вздрогнул и обернулся.

— Ах да! — промолвил он. — Я и забыл.

Полковник смущенно кашлянул и вдруг окликнул сержанта, который уже выходил с Оводом из комнаты.

— Подождите, сержант! Мне нужно поговорить с ним.

Овод не двинулся. Казалось, голос полковника не коснулся его слуха.

— Если вы хотите передать что-нибудь вашим друзьям или родственникам... Я полагаю, у вас есть родственники?

Ответа не последовало.

— Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я прослежу, чтобы ваше поручение было исполнено. Впрочем, лучше передайте его

священнику. Он придет сейчас же и останется с вами всю ночь. Если у вас есть еще какое-нибудь желание...

Овод поднял глаза:

— Скажите священнику, что я хочу побыть один. Друзей у меня нет, поручений — тоже.

— Но вам нужна исповедь.

— Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.

Он сказал это ровным голосом, без тени раздражения, и медленно повернулся к выходу. Но в дверях снова остановился:

— Я забыл, полковник. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра мне оставили руки свободными и не завязывали глаза. Я буду стоять совершенно спокойно.

\* \* \*

В среду на восходе солнца Овода вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обычного; он с трудом передвигал ноги, тяжело опираясь на руку сержанта.

Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Ужас, давивший в ночной тиши, сновидения, переносившие его в мир теней, исчезли вместе с ночью, которая породила их. Как только засияло солнце и он встретился лицом к лицу со своими врагами, в нем снова пробудился дух борьбы, и он уже ничего не боялся.

Против увитой плющом стены выстроились в линию шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой Овод спускался в ночь своего неудачного побега. Солдаты, стоявшие с карабинами в руках, едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить Овода. Этот человек с его остроумием, веселым смехом и светлым, заразительным мужеством, как солнечный луч, ворвался в их серую, однообразную жизнь, и то, что он должен теперь умереть — умереть от их рук, казалось им равносильным тому, как если бы померкло яркое дневное светило.

Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки. Проходя мимо, он с улыбкой

заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, наслаждаясь запахом свежевзрытой земли.

Возле дерева сержант остановился. Овод посмотрел по сторонам, весело улыбнувшись:

— Стать здесь, сержант?

Тот молча кивнул. Точно комок стоял у него в горле; он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. На дворе уже находились сам полковник, его племянник, лейтенант, командующий отрядом, врач и священник. Они вышли вперед, стараясь не терять достоинства под вызывающе-веселым взглядом Овода.

— Здравствуйте, г-господа! А, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час! Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее, чем прошлая, не правда ли? Я вижу, ваша рука еще забинтована. Все потому, что я тогда дал промах. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело. Не так ли, друзья?

Он окинул взглядом хмурые лица солдат:

— На этот раз бинтов не понадобится. Ну-ну, почему же у вас такой унылый вид? Смирно! И покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что не знаю, справитесь ли вы с ней. Нужно поупражняться заранее.

— Сын мой... — прервал его священник, выходя вперед; другие отошли, оставив их одних. — Скоро вы предстанете перед вашим творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для раскаяния. Подумайте, умоляю вас, как страшно умереть без отпущения, с сердцем, обремененным грехами! Когда вы будете стоять перед лицом вашего судии, тогда уже поздно будет раскаиваться. Неужели вы приблизитесь к престолу его с шуткой на устах?

— С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы и вам подобные больше нуждаетесь в такой проповеди. Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не карабины, и тогда вы увидите, была ли это шутка.

— Пушки! О, несчастный! Неужели вы не понимаете, какая пропасть вас ждет?

Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу:

— Итак, в-ваше преподобие думает, что когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной? Может быть даже, на мою могилу

положат сверху камень, чтобы помешать в-воскресению «через три дня»? Не бойтесь, ваше преподобие! Я не намерен нарушать вашей монополии на дешевые чудеса. Буду лежать смиренно, как мышь, там, где меня положат. А все же мы пустим в ход пушки!

— Боже милосердный! — воскликнул священник. — Прости этому несчастному!

— Аминь, — произнес лейтенант глубоким басом, а полковник и его племянник набожно перекрестились.

Было ясно, что увещания ни к чему не приведут, и священник отказался от дальнейших попыток и отошел в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Дальше все пошло без задержек. Овод стал, как полагалось, обернувшись только на миг в сторону красно-желтых лучей восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаза, и, взглянув на него, полковник неохотно согласился. Они оба забыли о том, как это должно подействовать на солдат.

Овод с улыбкой посмотрел на них. Руки, державшие карабины, дрогнули.

— Я готов, — сказал он.

Лейтенант, волнуясь, выступил вперед. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора.

— Готовься!.. На прицел! Пли!

Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, пущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Несколько капель крови упало на белый воротник. Другая попала в ногу выше колена. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит, по-прежнему улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки.

— Плохо стреляете, друзья! — сказал Овод, и его ясный, отчетливый голос резнул по сердцу окаменевших от ужаса солдат. — Попробуйте еще раз!

Ропот и движение пробежали по шеренге. Каждый карабинер целился в сторону в тайной надежде, что смертельная пуля будет пущена рукой его соседа, а не его собственной. А Овод по-прежнему стоял и улыбался им. Предстояло начать все заново; они лишь превратили казнь в ненужную пытку. Солдат охватил страх. Опустив карабины, они слушали неистовую ругань офицеров и в отчаянии смотрели на человека, который остался жив под их пулями.



Полковник потрясал кулаком перед лицами солдат, сам отдавал команду, торопя их покончить с этим. Он тоже растерялся и не смел взглянуть на человека, который стоял как ни в чем не бывало и не собирався падать. Когда Овод заговорил, он вздрогнул, испугавшись звука этого насмешливого голоса.

— Вы прислали на расстрел новобранцев, полковник! Посмотрим, может быть у меня что-нибудь получится. Ну, молодцы! На левом фланге, держать ружье выше! Это карабин, а не сковорода! Все прицелились? Ну, теперь: готовься!..





— Пли! — крикнул полковник, бросаясь вперед.

Нельзя было стерпеть, чтобы этот человек сам командовал своим расстрелом.

Еще несколько беспорядочных выстрелов, и солдаты сбились в кучу, дико озираясь по сторонам. Один даже совсем не выстрелил. Он бросил карабин и, припав к земле, бормотал:

— Я не могу, не могу!

Дым медленно растаял в свете ярких утренних лучей. Они увидели, что Овод упал; увидели и то, что он еще жив. Первую минуту солдаты и офицеры стояли, как в столбняке, глядя на Овода, который в предсмертных корчах бился на земле.

Потом врач и полковник с криком ринулись к нему, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел на солдат и опять смеялся:

— Второй промах! Попробуйте... еще раз, друзья! Может быть...

Он пошатнулся и упал боком на траву.

— Умер? — тихо спросил полковник.

Врач опустил руку на колени и, положив руку на залитую кровью сорочку Овода, ответил:

— Кажется, да... Слава богу!

— Слава богу! — повторил за ним полковник. — Наконец-то!

Племянник тронул его за рукав:

— Дядя... кардинал! Он стоит у ворот и хочет войти сюда.

— Что? Нет, нельзя... Я этого не допущу! Чего смотрит караул? Ваше преосвященство...

Ворота распахнулись и снова закрылись. Монтанелли уже стоял во дворе, глядя прямо перед собой неподвижными, полными ужаса глазами.

— Ваше преосвященство! Прошу вас... Вам не подобает смотреть... Приговор только что приведен в исполнение...

— Я пришел взглянуть на него, — сказал Монтанелли.

Даже в эту минуту полковника поразило голос и весь облик Монтанелли: он был как лунатик.

— О господи! — крикнул вдруг один из солдат.

Полковник быстро обернулся.

Так и есть!

Окровавленное тело опять корчилось на траве.

Врач опустился на землю рядом с умирающим и положил его голову к себе на колено.

— Скорее! — крикнул он. — Скорее, варвары! Прикончите его, ради бога! Это невыносимо!

Кровь ручьями стекала по его рукам. Он с трудом сдерживал бившееся в судорогах тело и растерянно озирался по сторонам, ища помощи. Священник нагнулся над его плечом и приложил распятие к губам умирающего:

— Во имя отца и сына...

Овод приподнялся, опираясь на колено врача, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие. Потом медленно, среди мертвой тишины поднял простреленную правую руку и оттолкнул его. На лице Христа остался кровавый след.

— Падре... ваш бог... удовлетворен?

Его голова упала на руки врача.

\* \* \*

— Ваше преосвященство!

Кардинал не очнулся от своего оцепенения, и полковник Феррари повторил громче:

— Ваше преосвященство!

Монтанелли поднял глаза:

— Он умер.

— Да, ваше преосвященство. Не уйти ли вам отсюда?.. Такое тяжелое зрелище не...

— Он умер, — повторил Монтанелли и посмотрел в лицо Оводу. — Я коснулся его — и он умер.

— Чего же еще ждать от человека, в котором сидит десяток пуль! — презрительно прошептал лейтенант. И врач тоже шопотом сказал:

— Его, должно быть, взволновал вид крови.

Полковник решительно взял Монтанелли под руку:

— Ваше преосвященство, лучше вам не смотреть на него.

Разрешите капеллану<sup>[86]</sup> проводить вас домой.

— Да... Я пойду.

Монтанелли медленно отвернулся от окровавленного тела и пошел прочь в сопровождении священника и сержанта. В воротах он замедлил шаги и бросил назад все тот же непонимающий, застывший, как у призрака, взгляд:

— Он умер...

\* \* \*

Несколькими часами позже Марконе подошел к домику на склоне холма, чтобы сказать Мартини, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.

Все приготовления ко второй попытке освободить Овода были закончены, ибо на этот раз план освобождения был много проще. Решили так: на следующее утро, когда процессия с телом господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперед из толпы и выстрелит полковнику в лицо. В общей суматохе двадцать вооруженных контрабандистов бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, схватив тюремщика, откроют камеру Овода и уведут его, убивая тех, кто попытается этому воспрепятствовать. От ворот рассчитывали отступить с боем, прикрывая второй отряд конных контрабандистов, которые вывезут Овода в надежное место в горах.

В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. Так хотел Мартини.

— Ее сердце не выдержит, — говорил он.

Когда контрабандист появился у калитки, Мартини открыл стеклянную дверь и вышел на веранду встретить его.

— Есть новости, Марконе?

Марконе вместо ответа сдвинул на затылок широкополую соломенную шляпу.

Они сели на веранде.

Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Но Мартини достаточно было бросить взгляд на Марконе, чтобы понять все.

— Когда это случилось? — спросил он после долгой паузы.

Собственный голос показался ему таким же тусклым и унылым, как и весь мир.

— Сегодня на рассвете. Я узнал от сержанта. Он был там и все видел. Вы сами сообщите ей об этом?

— Нет, я не могу! — воскликнул Мартини. — Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее. Как я скажу ей, как?

Мартини закрыл руками глаза. И, не открывая их, почувствовал, как вздрогнул контрабандист. Он поднял голову. Джемма стояла в дверях.

— Вы слышали, Чезаре? — сказала она. — Все кончено. Его расстреляли.

## VIII

— «Introibo ad altare Dei...»<sup>[87]</sup>

Монтанелли стоял перед престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка колонн, венки — все сверкало радужными красками. Над открытым настежь входом спускались тяжелые пунцовые занавеси, пылавшие в жарких лучах июньского солнца, словно лепестки красных маков в поле. Обычно полутемные, боковые приделы были освещены свечами и факелами монашеских орденов. Там же высились кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых притворов тоже стояли хоругви; их шелковые складки ниспадали до земли, позолоченные кисти и древки ярко горели под темными сводами. Лившийся сквозь цветные стекла окон свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, украшений и огней выступала неподвижная фигура кардинала в белом облачении, словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь.

Обычай требовал, чтобы в дни процессий кардинал только присутствовал на обедне, но не служил. Кончив «Indulgentiam»,<sup>[88]</sup> он отошел от престола и медленно направился к епископскому трону, провожаемый низкими поклонами священников и причта.

— Его преосвященство, вероятно, не совсем здоров, — шопотом сказал один каноник другому: — он сегодня сам не свой.

Монтанелли склонил голову, и священник, возлагавший на него митру, усеянную драгоценными камнями, прошептал:

— Вы больны, ваше преосвященство?

Монтанелли молча посмотрел на него, словно не узнавая.

— Простите, ваше преосвященство, — пробормотал священник, преклонив колена, и отошел, укоряя себя за то, что прервал кардинала во время молитвы.

Служба продолжалась обычным порядком. Монтанелли сидел прямой, неподвижный. Солнце играло на его митре, сверкающей



драгоценностями, и на шитом золотом облачении. Тяжелые складки белой праздничной мантии ниспадали на красный ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на его груди. Но глубоко запавшие глаза кардинала оставались тусклыми, солнечный луч не вызывал в них ответного блеска.

При выносе святых даров кардинал встал с трона и опустился на колени перед престолом. В плавности его движений было что-то необычное, и когда он поднялся и пошел назад, драгунский майор, сидевший в парадном мундире за полковником, прошептал, поворачиваясь к раненому капитану:

— Сдает старик-кардинал, сдает! Смотрите: словно не живой человек, а машина.

— Тем лучше, — тоже шопотом ответил капитан. — С тех пор как была дарована эта проклятая амнистия, он висит у нас камнем на шее.

— Однако на военный суд он согласился.

— Да, после долгих колебаний... Господи боже, как душно! Нас всех хватит солнечный удар во время процессии. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин. Ш-ш-ш! Дядюшка на нас глядит!

Когда месса окончилась и святые дары поставили в ковчег, духовенство удалилось в ризницу сменить облачение.

Послышался сдержанный гул голосов. Монтанелли сидел, устремив вперед неподвижный взгляд, словно не замечая жизни, кипевшей вокруг и замиравшей у подножия его трона. Ему поднесли кадило, он поднял руку, как автомат, и, не глядя, положил ладан в курильницу.

Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он сидел не двигаясь. Священник, который должен был принять от него митру, наклонился к нему и нерешительно проговорил:

— Ваше преосвященство!

Кардинал оглянулся:

— Что вы сказали?

— Может быть, вам лучше не участвовать в процессии? Солнце жжет немилосердно.

— Какое мне дело до солнца?

Монтанелли проговорил это холодно и с расстановкой, и священнику снова показалось, что он рассердился.

— Простите, ваше преосвященство. Я думал, что вы нездоровы.

Монтанелли встал, не удостоив его ответом. На верхней ступеньке трона он остановился и проговорил, все так же медленно:

— Что это?

Край его мантии лежал на ступеньках и он показывал на огненное пятно на белом атласе.

— Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.

— Солнечный луч? Такой красный?

Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадиллом. Потом протянул его священнику. Солнце легло цветными пятнами на его обнаженную голову, ударило в широко открытые, обращенные кверху глаза и осветило багряным блеском белую мантию, складки которой расправляли священники.

Он принял у диакона золотой ковчег и поднялся с колен под торжественную мелодию хора и органа.

Служители медленно подошли к нему и подняли над его головой шелковый балдахин; диаконы стали по правую и по левую руку и откинули назад длинные складки его мантии. Когда служки подняли ее, процессия двинулась вперед.

Монтанелли стоял у престола под белым балдахином, твердой рукой держа святые дары и глядя на проходящую мимо процессию. По двое в ряд люди медленно спускались по ступенькам со свечами, факелами, крестами, хоругвями и, минуя убранные цветами колонны, выходили из-под малиновой занавеси над порталом на залитую солнцем улицу. Звуки пения постепенно замирали вдали, переходя в неясный гул, а позади раздавались все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и под сводами собора долго не затихали шаги.

Монтанелли спустился по ступенькам на середину собора, прошел под хорами, откуда неслись торжественные раскаты органа, потом под занавесью у входа — такой нестерпимо красной! — и ступил на залитую солнцем улицу. Ковер расстилался перед ним красным потоком, розы лежали на камнях, точно пятна разбрызганной крови... Боже милосердный! Неужели подвластные тебе земля и небо стали вдруг красными от крови?

Он взглянул на причастие за хрустальной стенкой ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами и медленно каплет на его белое облачение? Вот так же капало с приподнятой руки... он видел сам. Трава на тюремном дворе была помятая и красная... вся красная... так много было крови. Она стекала с лица, капала из простреленной правой руки, хлестала горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью... да, волосы лежали на лбу мокрые и спутанные... Это предсмертный пот выступил от ужасных страданий...

Торжественное пение разливалось волной.

\* \* \*

Процессия кончилась. Когда пение смолкло, кардинал прошел в собор между двумя рядами монахов и священников, стоявших на коленях с зажженными свечами.

Устало, но покорно проделал кардинал оставшуюся часть церемонии, механически выполняя привычный ритуал. Потом, после благословения, опять преклонил колена перед алтарем и закрыл руками лицо. Голос священника, читавшего молитву об отпущении грехов, доносился до него, как дальний отзвук того мира, к которому он больше не принадлежал. Наступила тишина. Кардинал поднялся и протянул руку, призывая к молчанию. Те, кто уже пробирался к дверям, вернулись обратно.

По собору пронесся шопот: «Его преосвященство будет говорить».

Священники переглянулись в изумлении и ближе придвинулись к нему, один из них спросил вполголоса:

— Ваше преосвященство намерены говорить с народом?

Монтанелли молча отстранил его рукой. Священники, отступили перешептываясь. Проповеди в этот день не полагалось, это противоречило всем обычаям, но кардинал мог поступить по своему усмотрению. Он, вероятно, объявит народу что-нибудь исключительно важное: новую реформу, исходящую из Рима, или специальное послание святого отца.

Со ступенек алтаря Монтанелли взглянул вниз на море человеческих лиц. С жадным любопытством глядели они на него, а он

стоял над ними неподвижный, похожий на призрак в своем белом облачении.

— Тише! Тише! — негромко повторяли распорядители процессии, и рокот голосов постепенно замер, как замирает порыв ветра в верхушках деревьев.

Все смотрели на неподвижную фигуру, стоявшую на ступеньках алтаря. И вот в мертвой тишине раздался отчетливый, мерный голос кардинала:

— В евангелии от святого Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы мир спасен был через него». Сегодня у нас праздник тела и крови искупителя, погибшего ради вашего спасения, агнца божия, взявшего на себя грехи мира, сына господня, умершего за ваши прегрешения. Вы собрались, чтобы вкусить от жертвы, принесенной вам, и принести за это благодарение богу. И я знаю, что утром, когда вы шли вкусить от тела искупителя, сердца ваши были исполнены радости и вы вспоминали о муках, перенесенных богом-сыном, умершим ради вашего спасения.

Но кто из вас подумал о страданиях бога-отца, который дал распять на кресте своего сына? Кто из вас вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу с высоты своего небесного трона?

Я смотрел на вас сегодня, когда вы шли торжественной процессией, и видел, как ликовали вы в сердце своем, что отпустятся вам грехи ваши, и радовались своему спасению. И вот я прошу вас: подумайте, какой ценой оно было куплено. Велика его цена. Она превосходит цену рубинов, ибо она — цена крови...

Трепет пробежал по рядам. Священники, стоявшие в алтаре, перешептывались между собой и слушали, подавшись всем телом вперед.

Но проповедник снова заговорил, и они умолкли.

— Поэтому говорю вам сегодня: я глядел на вас, на вашу немощность и ваши печали, и на малых детей, играющих у ног ваших. И душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть. Потом я заглянул в глаза возлюбленного сына моего и увидел в них искупление кровью. И я пошел своей дорогой и оставил его нести свой крест.

Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его; он умер и не воскреснет; он умер, и нет у меня сына. О, мой мальчик,

мой мальчик!

Из груди кардинала вырвался долгий жалобный крик, и его, словно эхо, подхватили испуганные голоса людей. Духовенство встало со своих мест, диаконы подошли к проповеднику и взяли его за руки. Но он вырвался и посмотрел им в глаза взглядом разъяренного зверя:

— Что это? Разве не довольно еще крови? Подождите своей очереди, шакалы! Вы тоже насытитесь!

Они попятились и сбились в кучу, бледные, дрожащие. Монтанелли снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой пролетел ураган.

— Вы убили его! Вы убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми славословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь, раскаиваюсь, что сделал это! Лучше бы вы погрязли в пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить. Стоят ли ваши зачумленные души, чтобы за спасение их было заплачено такой ценой?

Но поздно, слишком поздно! Я кричу, а он не слышит меня. Стучусь у его могилы, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор с залитой кровью земли, где зарыт свет очей моих, к страшным, пустым небесам. И отчаянье овладевает мной. Я отрекся от него, отрекся от него ради вас!

Так вот же вам ваше спасение! Берите! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! За пир уплачено. Так придите, ешьте до отвала, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвечиной! Смотрите: вон со ступенек алтаря течет горячая, дымящаяся кровь! Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же ее, вымажьте себе лица этой кровью! Деритесь за тело, рвите его на куски... и оставьте меня!

Вот тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все еще трепещет в нем жизнь, все еще бьется оно в предсмертных муках! Возьмите же его, христиане, и ешьте!

Он схватил ковчег со святыми дарами, поднял высоко над головой и с размаху бросил на пол. Металл зазвенел от удара о каменные плиты. Духовенство толпой ринулось вперед, и сразу двадцать рук схватили безумца.



*W. P. Woodcut*

И только тогда напряженное молчание народа разрешилось неистовыми, истерическими воплями.

Опрокидывая стулья и скамьи, сталкиваясь в дверях, давя друг друга, обрывая занавеси и гирлянды, рыдающие люди хлынули на улицу.



## Эпилог

— Джемма, вас кто-то спрашивает внизу.

Мартини произнес эти слова тем сдержанным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение последних десяти дней.

Этот тон да еще ровность и медлительность речи и движений были единственными проявлениями их горя.

Джемма в переднике и с засученными рукавами раскладывала на столе маленькие свертки с патронами. Она занималась этим с самого утра, и теперь, в лучах ослепительного полдня, было видно, как осунулось ее лицо.

— Кто там, Чезаре? Что ему нужно?

— Я не знаю, дорогая. Он мне ничего не сказал. Просил только передать, что ему хотелось бы переговорить с вами наедине.

— Хорошо. — Она сняла передник и спустила рукава. — Нечего делать, надо выйти к нему. Наверно, это просто шпик.

— Я буду в соседней комнате. В случае чего, кликните меня. А когда отделаетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах.

— Нет, нет! Я лучше буду работать.

Джемма медленно спустилась вниз по лестнице. Мартини молча шел следом за ней.

За эти несколько дней Джемма состарилась на десять лет. Едва заметная раньше седина теперь выступала у нее широкой прядью. Она почти не поднимала глаз, но если Мартини удавалось случайно поймать ее взгляд, он содрогался от ужаса.

В маленькой гостиной стоял навтыяжку незнакомый человек. Взглянув на его неуклюжую фигуру и испуганные глаза, Джемма догадалась, что это солдат швейцарской гвардии.<sup>[89]</sup> На нем была крестьянская блуза, очевидно с чужого плеча. Он озирался кругом, словно боясь, что его вот-вот накроют.

— Вы говорите по-немецки? — спросил он.

— Немного. Мне передали, что вы хотите видеть меня.

— Вы синьора Болла? Я принес вам письмо.

— Письмо? — Джемма задрожала и оперлась рукой о стол.

— Я из гвардии, вон оттуда. — Он указал в окно на холм, где виднелась крепость. — Письмо это от казненного на прошлой неделе. Он написал его в последнюю ночь перед расстрелом. Я обещал ему передать письмо вам в руки.

Она склонила голову. Все-таки написал...

— Потому-то я так долго и не приносил, — продолжал солдат. — Он просил передать вам лично. А я не мог раньше выбраться — за мной следили. Пришлось переодеться.

Солдат пошарил за пазухой. Стояла жаркая погода, и сложенный листок бумаги, который он вытащил, был не только грязен и смят, но и весь промок от пота. Солдат неловко переступил с ноги на ногу. Потом почесал в затылке.

— Вы никому не расскажете? — проговорил он робко, окидывая ее недоверчивым взглядом. — Я пришел сюда ценой жизни.

— Конечно нет! Подождите минутку...

Солдат уже повернулся к двери, но Джемма остановила его, протянув руку к кошельку. Оскорбленный, он попятился назад и сказал грубовато:

— Мне не нужно ваших денег. Я сделал это ради него — он просил меня. Ради него я пошел бы и на большее. Он был очень добрый человек...

Легкая дрожь в его голосе заставила Джемму поднять голову. Солдат вытирал глаза грязным рукавом.

— Мы не могли не стрелять, — продолжал он полушопотом. — Мы люди подневольные. Дали промах... а он смеялся над нами. Назвал нас новобранцами... Пришлось второй раз стрелять. Он был очень добрый человек...



Наступило долгое молчание. Потом солдат выпрямился, неловко отдал честь и вышел.

Несколько минут Джемма стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села у открытого окна.

Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно ясны:

Дорогая Джим...

Строки вдруг расплылись и подернулись туманом. Она потеряла его! Опять потеряла! Детское прозвище заставило Джемму заново почувствовать эту утрату, и она простерла руки в бессильном отчаянии, словно земля, лежавшая на нем, всей тяжестью навалилась ей на сердце.

Потом снова взяла листок и стала читать:

Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все, и если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми.

Итак, моя дорогая, вы видите, что незачем вам было терзать свое сердце из-за этой старой истории с пощечиной. Мне было тяжело перенести это. Но потом я испытал немало других таких же ударов и пережил их. Кое за что даже отплатил. И сейчас я, как рыбка в нашей детской книжке (забыл ее название), «жив и бью хвостом» — правда, в последний раз... А завтра утром — *finita la comedia*.<sup>[90]</sup> Для вас и для меня это значит: цирковое зрелище окончилось. Воздадим благодарность богам хотя бы за эту милость. Она невелика, но все же это милость. Мы должны быть признательны и за нее.

А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы и Мартини знали, что я совершенно счастлив и спокоен и что мне больше нечего просить у судьбы. Передайте это Мартини как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ... Он поймет. Я знаю, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, эти люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я

знаю, что если вы, живые, будете держаться вместе и бить крепко, вам предстоит увидеть великие события. А я выйду завтра во двор с радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на праздники. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю им страх. А чего же еще может желать человек?

Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Тот, кто идет умирать, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был так груб с вами и не мог забыть старые счета.

Вы, Впрочем, и сами все понимаете, и я напоминаю об этом только потому, что мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и заплетали косичку, напоминавшую крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните, как я поцеловал вашу руку и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!

Подписи не было. Вместо нее Джемма увидела стишок, который они учили вместе еще детьми:

Живу ли я иль умираю —  
Веселой мушкой я летаю.

Полчаса спустя в комнату вошел Мартини. Много лет он скрывал свои чувства к Джемме, но сейчас, увидев ее горе, не выдержал и, бросив объявление, которое было у него в руках, обнял ее:

— Джемма! Что такое? Ради бога! Ведь вы никогда не плачете, Джемма! Джемма! Дорогая, любимая моя!

— Ничего, Чезаре. Я расскажу потом... Сейчас... не могу.

Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо, отошла к окну и выглянула на улицу, пряча от Мартини лицо. Он замолчал,

закусив губы. Первый раз за все эти годы он, точно мальчишка, выдал себя, а она даже ничего не заметила.

— В соборе ударили в колокол, — сказала Джемма оглянувшись; самообладание вернулось к ней. — Должно быть, кто-то умер.

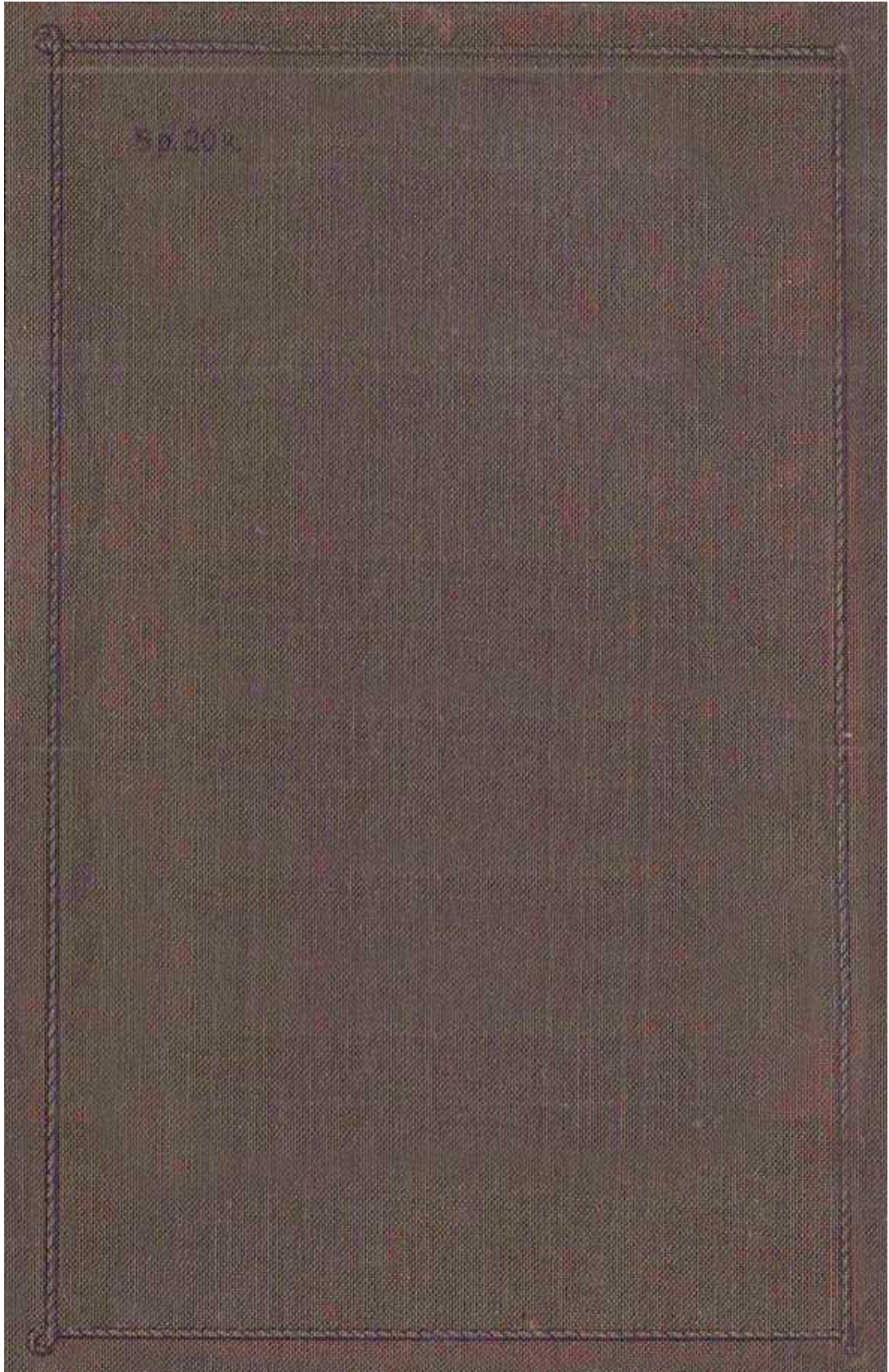
— Об этом-то я и пришел вам сказать, — обычным голосом ответил Мартини.

Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой:

Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсиньор Лоренцо Монтанелли, скоропостижно скончался в Равенне от разрыва сердца.

Джемма быстро взглянула на Мартини, и он, пожав плечами, ответил на ее невысказанную мысль:

— Что же вы хотите, мадонна? Разрыв сердца — чем плохи эти слова? Они не хуже других.



---

# Примечания

**1**

Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXV, стр. 112.

**2**

Пиза — город в Тоскане, один из крупнейших центров итальянской культуры.

**3**

Каноник — священник католической церкви, занимающий штатную должность при соборе.

**4**

Carino (*итал.*) — дорогой.

**5**

Падре — отец; у итальянцев — обычное обращение к священнику.

**6**

Fragola (*итал.*) — земляника.

**7**

Доминиканский — принадлежащий монашескому ордену доминиканцев, основанному в XIII веке испанским проповедником Домиником для борьбы против «еретиков» и вольнодумцев.

**8**

Корнуэлл — графство в Англии.

## 9

Ливорно — крупный портовый город на Лигурийском море, неподалеку от Пизы.

## 10

Отношения между католиками и протестантами, долгое время ведшими между собой кровавые войны, даже в XIX веке были крайне враждебными.

## 11

Остров Руссо — остров на Роне, где установлен бюст французского мыслителя и писателя Жан-Жака Руссо (1712-1778), уроженца Женевы.

## 12

Шале (*франц.*) — домик, избушка, швейцарская хижина в горах.

## 13

Monsieur (*франц.*) — господин.

## 14

Методисты — религиозная секта, возникшая в XVIII веке в Англии.

## 15

«De Monarchia» («О монархии») — сочинение великого итальянского поэта Данте Алигиери (1265—1321), выдвигавшее идею создания сильного, объединенного итальянского государства, возглавляемого не папой, а светской властью.

## 16

Ватикан — папский дворец в Риме; в переносном смысле — папская власть, правящие круги римско-католической церкви.

## 17

Санта-Катарина — церковь святой Екатерины в Пизе.

## 18

Калабрия — горная область в Неаполитанском королевстве.

## 19

Флоренция — в то время столица Тосканы.

## 20

В то время в Ливорно из Марсея шли тайные грузы общества «Молодая Италия» — газета «Молодая Италия», которую Мадзини выпускал в Марселе, политические брошюры и книги.

## 21

То-есть в газете «Молодая Италия».

## 22

Филистер — обыватель, человек с кругозором мещанина.

## 23

В евангелии есть рассказ о том, как Христос изгнал всех торгующих из иерусалимского храма, опрокинул скамьи менял и продавцов голубей.

## 24

Синьорино — обращение к молодому человеку.

## 25



*Ave, Maria, Regina Coeli...* (*лат.*) — «Радуйся, Мария, царица небесная...» — слова молитвы.

## 26

Беладонна — бешеная вишня, красавка, лекарственное растение.

## 27

Паоло — серебряная монета.

## 28

Медичи — старинный род правителей Флоренции.

## 29

Памятник Четырех Мавров — в Ливорно памятник тосканскому герцогу Фернандо I Медичи. У пьедестала этого памятника прикованы бронзовые фигуры четырех мавров.

## 30

В Тоскане в то время установился относительно либеральный режим, и Флоренция стала прибежищем политических деятелей, преследуемых в других итальянских государствах.

## 31

Папа Пий IX, сменив в 1846 году на папском престоле Григория XVI, пытался рядом либеральных мер отвести опасность революции и завоевать симпатии интеллигенции. Среди этих мер была амнистия (отмена наказания) политическим заключенным и эмигрантам. В дальнейшем, напуганный революцией 1848 года, папа Пий IX продолжал обычную реакционную политику своих предшественников.

## 32

Памфлет — статья или брошюра злободневного содержания, высмеивающая обычно какое-либо лицо или явление.

### 33

Великий герцог — Леопольд II, герцог Тосканский.

### 34

Ренци — вождь восстания, организованного в Римини (Папская область) в 1846 году; был выдан тосканским правительством папе.

### 35

Иезуиты — монашеский орден, основанный в XVI веке и ставший опорой и орудием феодально-католической реакции. Иезуиты особенно усилили свою деятельность в Италии после Венского конгресса.

### 36

Грегорианцы — сторонники политики папы Григория XVI, противники либеральных реформ, предпринятых папой Пием IX.

### 37

Санфедисты — члены «Общества последователей святой веры», основанного в 1799 году итальянскими мракобесами для борьбы с освободительным движением. Ненавидя народ, санфедисты не раз поддерживали австрийцев.

### 38

Ламбручини — кардинал, государственный секретарь Папской области при папе Григории XVI; оказывал помощь австрийцам и сам опирался на них в борьбе против итальянского народа.

### 39

Тарантелла — народный итальянский танец, исполняемый в очень быстром темпе.

## 40

Джузеппе Джусти (1809-1850) — один из крупных итальянских поэтов, талантливый сатирик, резко выступавший против реакционеров и австрийского ига.

## 41

Миланский диалект — один из диалектов итальянского языка, довольно сильно отличающийся от литературной речи.

## 42

Сибарит — изнеженный человек, привыкший к роскоши и безделью.

## 43

Летом 1843 года была раскрыта подготовка к восстанию в Болонье и Равенне (Папская область). Руководители восстания — братья Муратори — ушли с небольшой группой, друзей в Апеннины, где пытались организовать партизанскую войну, но потерпели поражение. Некоторые участники восстания, схваченные правительственными войсками, были казнены в Болонье.

## 44

Le taon (*франц.*) — овод.

## 45

Тридцатые — сороковые годы XIX столетия в Южной Америке были периодом национально-освободительных войн. В этих войнах участвовало много политических эмигрантов, бежавших из Европы.

## 46

Орсини Феличе (1819—1859) — борец за освобождение Италии, мадзинист; казнен в Париже после неудачного покушения на французского императора Наполеона III.

## 47

Кардинал Спинола — один из папских наместников, особенно жестоко расправлявшийся с участниками восстаний и заговоров тридцатых — сороковых годов XIX столетия.

## 48

Антиклерикал — противник церкви.

## 49

Девоншир — графство в юго-западной Англии.

## 50

Фьезоле — город недалеко от Флоренции.

## 51

Мадонна (*итал.*) — сударыня, госпожа.

## 52

Очевидно, намек на судьбу братьев Бандиера — флотских офицеров, в 1844 году сделавших попытку высадиться с военных судов с небольшим революционным отрядом и поднять восстание в Калабрии. Братья Бандиера были преданы, схвачены и расстреляны на месте.

## 53

Царица Савская — по библейским преданиям, сказочно прекрасная и мудрая владычица одного из государств древнего Востока.

## 54

Меттерних (1773-1859) — австрийский политический деятель, виднейший представитель европейской реакции в 1815-1848 годах. В

Италии его особенно ненавидели за жестокую политику террора и преследований, проводившуюся по его указаниям.

## 55

Какая великолепная ночь! Не правда ли, князь? (*франц.*)

## 56

Charmant (*франц.*) — очаровательно.

## 57

Речь идет о реформах Пия IX (*см. примеч. к стр. 82*).

## 58

Монсиньор — титул представителей высшего католического духовенства, в частности кардиналов.

## 59

Сиена и Пистойя — города в Тоскане.

## 60

Романья — провинция в Папской области.

## 61

Кардинал Феретти — один из сподвижников папы Пия IX.

## 62

Альтернатива — положение, при котором необходимо принять одно из двух возможных решений.

## 63

Шелли Перси Биши (1792-1822) — выдающийся английский поэт.

## 64

Савонарола Джироламо (1452-1498) — флорентийский проповедник, прославившийся своим ораторским талантом.

## 65

Пасквиль — сатирическое произведение, в котором умышленно извращаются факты.

## 66

Аркадия — страна в древней Греции, воспетая античными поэтами как край мирной пастушеской жизни. В позднейшей литературе — счастливая, сказочная страна, далекая от тревог и забот повседневности.

## 67

Леонардо да-Винчи (1452-1519) — великий итальянский художник. Здесь имеется в виду его картина, на которой изображен юноша с загадочной полунасмешливой улыбкой на устах.

## 68

Арлекин — влюбленный плут-слуга, главный герой итальянского народного театра.

## 69

Коломбина — веселая служанка, в которую влюблен Арлекин.

## 70

Сольдо — мелкая медная монета.

## 71

Полента — дешевое кушанье вроде каши.

**72**

Рио — Рио-де-Жанейро.

**73**

Чивита-Веккиа — город в Папской области, на Тирренском море.

**74**

Скуди — крупная серебряная монета.

**75**

Сцилла и Харибда — в греческой мифологии чудовища, сулящие неминуемую гибель мореходу. Выражение «между Сциллой и Харибдой» можно сравнить с русским: «между двух огней».

**76**

Минерва — у римлян богиня мудрости, покровительница искусств, наук и ремесел.

**77**

Слова молитвы перед причастием.

**78**

Легатство — епархия, куда папа направлял своего полномочного представителя — легата.

**79**

«Не мир, но меч...» — Овод насмешливо напоминает слова Христа из евангельской легенды, обращенные к ученикам: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч».

**80**

На войне, как на войне (*франц.*).

## 81

Corpus Domini — праздник тела господня, один из самых пышных праздников католической церкви.

## 82

Слова из евангелия.

## 83

Слова из евангелия.

## 84

Матадор (*исп.*) — один из участников боя быков.

## 85

«Ты победил, галилеянин», то-есть «ты победил, Иисус», — последние слова, которые римский император Юлиан (331-363), гонитель христиан, будто бы произнес перед смертью, признав таким образом победу христианства.

## 86

Капеллан — помощник священника у католиков.

## 87

«Припадем к престолу божьему» — вступительные слова молитвы; «Introit» — ее название.

## 88

Молитва об отпущении грехов.

## 89



Швейцарская гвардия — наемные войска папского правительства, которые комплектовались из швейцарцев.

**90**

Представление окончено (*итал.*).